
B148 316

О ДЕКАБРИСТАХ

СЕРГЕЙ ВОЛКОНСКИЙ

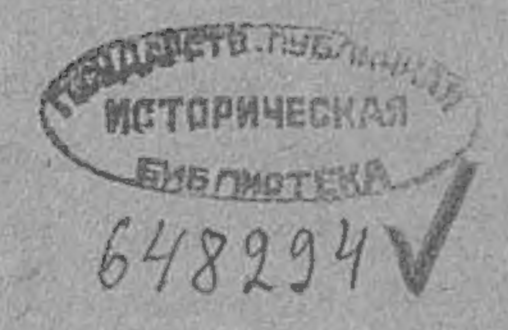
О ДЕКАБРИСТАХ

(ПО СЕМЕЙНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАЧАЛА“
ПЕТЕРБУРГ * 1922







Р. Ц. — № 562.
Напечатано в количестве 3000 экз.

I.

„Семейный Архив“, — сколько прошлого, ушедшего, былого в этих словах! И вместе с тем, сколько поблекшего, увядшего, и, несмотря на блеклость, сколько благоуханного. К сожалению, все это в словах; а в самих архивах — что осталось?

Бумажное наследие наших отцов, в тех редких случаях, когда оно не подверглось поруганию, извлечено из обстановки, в которой оно хранилось, развезено по разным казенным учреждениям, свалено по канцеляриям, по сундукам в кладовых музеев, перебирается и распределяется людьми, далекими от той внутренней жизни, которой дышат эти пожелтелые листки. Вырванные из своих семейных гнезд, из той атмосферы родственного внимания, в которой они хранились, архивы наши потеряли, — безвозвратно потеряли именно то благоухание, которое было самым ценным их свойством. Они его потеряли потому, что оно было не им присуще, а сообщалось им сыновнею любовью родственно связанного с ними потомка. Для тех людей, которые сейчас ими занимаются, это не живые страницы далекого, но близкого прошлого, а только „документ“. Все, что будет на основании этого документа написано, будет не более, как сводка; все, что будет к нему прибавлено, будет либо догадка, либо вымысел. Только *свой* человек увидит за „документом“ жизнью трепещущее письмо, только сын за почерком почувствует характер и образ, только внук за мельком брошенным именем ощутит прикосновение жизненных течений, переплетение семейных отношений. Только *в самом себе* (а не в бумаге) найдет он разгадку тому, что не досказано. И тогда то, что он прибавит к „документу“, не будет ни догадкой, ни вымыслом. Это будут, если не личные воспо-

минания, то — куски жизни, отраженные в его памяти. Из глубины детства возникают и всплывают на поверхность какие-то клочки, обрывки: звук голоса, взгляд, усмешка, имя, кличка, портрет, сухой цветок, кусок материи, песня, прибаутка, запах... И в каждом таком намеке есть воскрешающая сила, не обманная сила, столь же не обманная, как и сила „документа".

Посторонний исследователь из письма выводит: семейному исследователю письмо само рассказывает и — гораздо больше, чем в письме написано. Да будет же мне позволено воспользоваться вышеуказанным преимуществом „семейного исследователя" и, в качестве внука декабриста, рассказать о том архиве, который был у меня, и которого у меня нет.

Весной 1915 г., разбирая вещи в старом шкапу на тогдашней моей квартире в Петербурге (Сергиевская 7), я неожиданно напал на груду бумаг. Часть их лежала вповалку, но большинство было уложено пакетами, завернутыми в толстую серую бумагу; на пакетах этих, запечатанных сургучем и перевязанных тесемками, были надписи: от такого-то к такому-то, от такого-то до такого-то года, от такого-то до такого-то номера; иногда оговорка о пропуске в номерах. В надписях я сейчас же признал почерк моего деда декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Тут же было несколько переплетенных тетрадок. Раскрыв их, я увидел в одной письма матери декабриста, княгини Александры Николаевны Волконской, в других — письма к жене декабриста, княгине Марии Николаевне Волконской, урожденной Раевской, от разных членов ее семьи, родителей, братьев, сестер. Еще было несколько больших переплетенных тетрадок, — это был журнал исходящих писем. Наконец, были кипы писем самих декабристов, — Сергея Григорьевича и Марии Николаевны, очевидно, возвращенных моему отцу после смерти адресатов. Среди всего этого письменного материала множество рисунков: портреты акварельные, карандашные, виды Сибири, сцены острожной жизни; в числе их портреты работы декабриста Бестужева, карандашные портреты известного шведского художника Мазера, в

50-х годах посетившего Сибирь и зарисовавшего многих декабристов. Одним словом, — с полок старого шкапа глядело на меня 30 лет Сибири (1827—1856), да не одна Сибирь: письма начинались много раньше, с 1803 года и кончались 1866-ым годом смерти декабриста Волконского.

Такое наследие обязывает. Я решил заняться разработкой и изданием его. В разработке помогал мне Б. Л. Модзалевский, заведующий Пушкинским Домом при Академии Наук, знаток русской генеалогии и работник по архивоведению. Издание взял на себя Е. А. Ляцкий, руководитель издательства „Огни", столь много сделавшего в области мемуарной литературы.

Предполагаемое издание должно было называться „Архив Декабриста" и состоять из четырех частей: I, „до Сибири", 2 „Заточение", 3 „Поселение", 4 „Возвращение". По предварительному подсчету материала, он, вероятно, занял бы пять, шесть томов. Иллюстрационный материал был мною сфотографирован. Работа пошла быстро и, несмотря на все затруднения, сперва военного, а потом революционного времени, первый том „Архива Декабриста" вышел в июле 1918 г.

В самом начале работы я снесся с Иркутской Архивной Комиссией, прося не отказать мне в доставлении материалов касательно сибирского житья наших изгнанников. Секретарь этой Комиссии ответил мне несколькими письмами, в которых выказывал много теплоты и внимания к интересовавшему меня делу. От себя он поместил несколько объявлений в сибирских газетах, и в ответ на этот призыв я получил много писем от сибирских старожилов, сыновей и внуков таких людей, которые были знакомы с декабристами. Эти письма неизвестных людей рисовали трогательные картины быта, характеристики лиц и отношений и в горячих выражениях неподкупной искренности свидетельствовали о памяти, какую оставили декабристы в местном населении, Моим безвестным корреспондентам приношу здесь глубокую свою благодарность. Если когда-нибудь страницы эти попадутся им на глаза, они узнают, что волна разрушения, унесшая всю работу рук моих, унесла и их имена и их адреса...

Все рисунки были мною увезены в деревню, в имение Павловку, Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии. Здесь, во флигеле я собрал и устроил — „Музей Декабристов“ Кроме картин, портретов и проч., были там многие вещи, декабристам принадлежавшие. Так, была у меня ложка, которою ел С. Г. Волконский, его чубук, его палка, часы, подсвечник, стол, кресло, ноты, принадлежавшие княгине Марии Николаевне... Всех мелочей и не перечислить. Порядок и покой этого маленького музея были нарушены осенью 1918 года, когда я покинул свое имение и перевез наиболее близкие и сердцу дорогие вещи в уездный город. Здесь, несмотря на почти уже невозможные условия жизни, весною того же года, на Святой, в библиотеке Народного Дома, я открыл в пользу Общества вспомоществования раненым и увечным воинам „Выставку Декабристов“. В двух больших залах и двух маленьких комнатах разместились четыре отдела: „До Сибири“, „Сибирь“, „Оффициальная Россия“ и „Возвращение“. Выставка эта в Петербурге и Москве, конечно, имела бы большой успех. Каталог ее, более двухсот номеров, вероятно, и по сие время сохранился у кого-нибудь из жителей города Борисоглебска или в местной общественной библиотеке. Убрать с такою любовью собранную выставку мне уже не пришлось, — в солдатской шинели, с котомкой платья и белья, в пять часов утра, пешком я должен был покинуть родной город... Знаю, что часть вещей, специально художественной ценности, была затребована и вывезена Коллегией охраны памятников и сейчас покоится в подвалах Румянцевского Музея.

Самый архив, в подлиннике и в копии, был мною заблаговременно переслан в Академию Наук, а оттуда, заботами Б. Л. Модзалевского, переправлен в Румянцевский же Музей.

Каждую часть издания я предполагал снабдить предисловием. Первое предисловие вышло в свет с первым томом. В силу обстоятельств этот первый том будет и последним... Ко второй части („Заточение“) предисловие уже было мною написано. Это был рассказ о первых десяти годах сибирского житья; рассказ, составленный исключительно по письмам княгини Марии Николаевны и вместе с тем да-

вавший духовный ее портрет, как он из этих писем вырисовывается. Но эта работа, — как и все мои бумаги, заметки, письма, примечания и прочий рукописный материал, — была отобрана у меня уездными властями в то время, когда все мое имущество было объявлено народной собственностью. Когда в 1919 г. был послан туда делегат от Охраны памятников, с тем, чтобы вывезти мои работы, он уже ничего не нашел: „бумаги, отобранные в бывшем доме Волконского, были израсходованы"... там, где вообще расходуется ненужная бумага...

Постараюсь на этих страницах по памяти восстановить, сколько могу, но прошу читателя не посетовать за отсутствие ссылок и дат: у меня не осталось ничего. Предвидя возможную пропажу, я снял копию с упомянутого второго предисловия и отдал на хранение одной старушке в уездном городе. Но и это оказалось недостаточно безопасным; — старушка вынуждена была закопать ее в землю. В январе 1921 г. мне привезли эту рукопись в Москву. Когда я развернул ее, у меня в руках она рассыпалась, — это был прах... Так исчез последний след моей работы. Пока пишу эти строки, передо мной на столе стоят — фотография с одной из комнат, в которых размещался „Музей Декабристов", портрет княгини Марии Николаевны, миниатюра, изображающая ее мать, и кедровая шишка от сибирского кедра, посаженного мною в парке моего бывшего имения. Вот все, что у меня осталось... Но, — память дороже вещей.

Ценность того материала, который судьба предоставила мне в этих бумагах, нельзя назвать чисто исторической, — она гораздо больше в раскрытии бытовой и психологической стороны той удивительной эпохи и тех удивительных людей. Думаю, что для истинных равнителей прошлого, для тех, кто в прошлом ищет не фактов, а жизни, эта сторона даже ценнее; она ценнее не только по существу, но и по редкости своей. События достаточно известны, но именно быт и психология людей, при скудости наших семейных архивов, при нерадении, с каким предшествовавшие поколения относились к бумажному наследию отцов, составляют самую дорогую сторону прошлого, тем более дорогую, чем труд-

нее восстановить ее картину. С этой точки зрения наш архив представляет редкую ценность; вряд ли от кого-либо из участников декабрьских событий остался столь обильный и вместе с тем последовательный, почти „непрерывный" материал. И в этом материале—не сами события, а то, как они отражались в умах и сердцах, как люди о них узнавали, передавали друг другу, как страдали, радовались, ссорились, мирились. Такое событие, как политический заговор, разразившийся военным восстанием в Петербурге 14 декабря 1825 г., со всем, что было им вызвано, не могло не отразиться самым глубоким образом на взаимоотношениях людей. Не говоря о политических убеждениях, оказались затронутыми вопросы общественного и служебного положения, были потрясены условия материального быта, были подвергнуты испытаниям прочность и искренность семейных отношений. Вот в чем истинный интерес нашего архива. Интерес увеличивается тем, что материал сосредоточивается вокруг таких двух центральных фигур, как идеальный, несколько утопичный и не от ми́ра сего декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский и романтическая, героическая в красоте своего подвига личность княгини Марии Николаевны.

О декабристах было много исследований, о их женах писали поэты, но ни точность исторического изыскания, ни сила поэтического творчества не создадут этим людям более высокого памятника, чем тот, что вырастает со страниц семейного бытоописания. Ведь самая героическая жизнь состоит из накопления мелочей, и вот эти мелочи, простотой своей и простотой отношения к ним еще более поднимают высокую сторону того, что для писавших было будничной повседневностью. „Какие героини", — говаривала по возвращении из Сибири Александра Ивановна Давыдова, „какие героини! Это поэты из нас сделали героинь, а мы просто поехали за нашими мужьями". Так смотрели они на свой подвиг и не сознавали даже, как этой скромностью возвышали его.

Такова окраска общего духа, которым веет со страниц нашего архива. Повседневность геройства и геройство в повседневности. И редко когда с большей ясностью и более

скорбной остротой, чем при разборке этих страниц, пожелтелых и покрытых трудно разбираемыми, иной раз уже блеклыми письменами, вставали перед сознанием — житейская ничтожность всего земного и эстетическая ценность всего, что когда-то было...

Былое! Ясна ли вся прелесть этого слова? Теперь, когда все прежнее сметается, заодно стирается в сознании людском и прошлое.

Между тем это совсем не одно и то же. Можно не любить, даже ненавидеть прежнее, и все же любить прошлое; можно не желать возвращения прежнего и тем не менее любовной памятью цепляться за прошлое, воскрешать его к эстетической жизни. Конечно, это уменье различать и оценивать есть признак тонкой культуры, и, более чем когда либо, в наши дни хочется напоминать о ценности прошлого; хочется ясно отметить разницу между неценностью отжитого и пережитого и ценностью прожитого. „Что пройдет, то будет мило“, сказал поэт; и каждая настоящая минута, перегорая в смерти и уходя в прошедшее, нами оттуда извлекается и выводится к новой жизни. Из разбитых сосудов мы по каплям, по крошкам собираем трепет прошлой жизни; и этот трепет, для прошлого ненужный, для настоящего, казалось бы, бесполезный, в беспокойной растерянности наших исканий и метаний,—говорит нам о тщете земных страстей, о беспричинности страданий, о бессилии негодований; он в настоящем говорит о вечности „и на бунтующее море льет примирительный елей“.

Для тех, кто это понимает, для тех последующие страницы.

II.

Однажды в моем уездном городе меня просили прочитать с благотворительною целью лекцию о декабристах. Я счел долгом обратить внимание того, кто вел со мной переговоры, на то, что в начале моей лекции мне придется говорить о многом таком, что сейчас не в чести обретается (это было весною 1918 года): о князьях, генералах, даже

императорах и императрицах... „И говорите, сказал он — говорите. Потому, что одно дело попасть в Сибирь из деревни, а другое дело попасть в Сибирь из дворца". И это сказал человек, сам вышедший из деревни и вернувшийся из Сибири (что не помешало ему быть расстрелянным).

Ни на одном из участников декабрьского восстания этот контраст не проступает так ярко, как на князе Сергее Григорьевиче Волконском.

Блестящее образование, блестящее положение в свете и при дворе, блестящая даже по тем временам головокружительнея карьера (в 23 года он был генерал-майором), барабанный бой и знамена Наполеоновских войн, участие в пятидесяти восьми сражениях, празднества Венского Конгресса, — вся юность его прошла под тем героическим дуновением молодости, которым дышало „дней Александровых прекрасное начало". И после этого — ночь сибирских рудников...

Родители Сергея Григорьевича стояли высоко по лестнице общественно-служебной и придворной. Отец его, князь Григорий Семенович, был сыном генерал-аншефа князя Семена Федоровича Волконского, в семилетнюю войну командовавшего провиантмейстерскою частью. Григорий Семенович и сам был вояка и заслужил от Суворова наименование „неутомимого" и „трудолюбивого". От 1803 до 1816 г. он был генерал-губернатором, или, как тогда говорили, военным губернатором Оренбургского края. Пост видный, почетный и, если можно так выразиться, живописный. Близость „к пределам Азиатским", посещения вассальных ханов, караваны верблюдов, нагруженных дарами Азиатских степей, разливы рек,—все это проходит в письмах старика и, в связи с несколько приподнятым тоном самого пишущего, придает им не совсем обычный характер, покрывает их налетом чего-то Державинского, это какие-то оды домашнего обихода.

Большинство сохранившихся от него писем — к дочери его Софье Григорьевне, бывшей замужем за Волконским же, князем Петром Михайловичем, известным впоследствии начальником штаба при Александре I и министром двора при Николае I. Называет он свою дочь „дражайшая кня-

гиня Софья Григорьевна“, „покрывает целованием ее драгоценные ручки“, на конверте после адреса, приписывает „и душевному другу“ или — и „ангелу моему“. Сидя „в своем одиночестве“, вдали от „веселостей столицы“ и „берегов невских“, престарелый отец заочно „прижимает в свои сердечные объятия“ всех членов семьи, столь же многочисленных, сколько взысканных милостями царскими. Старший сын — „наш князь Николай Григорьевич“, побывав в 1813 г. вицекоролем Саксонии, назначается генерал-губернатором Малороссии; второй — „наш князь Никита Григорьевич“ жалуется флигель-адьютантом, а „герой наш князь Сергей Григорьевич“ стяжает славу на полях сражений: в двадцать три года он генерал-майор, несколько раз ранен и контужен, усыпан знаками отличия. Помню, в записках Хомутовой рассказ. Сидели в опере, отворяется дверь, в ложу входит Сергей Волконский в шинели. Его спросили, почему он не снимает шинели. „Из скромности, отвечал он, солнце прячет в облака лучи свои“. Он распахнулся, — его грудь горела орденами...

Старшие два сына были женаты. Николай — на графине Варваре Алексеевне Разумовской, внучке гетмана; Никита на княжне Белосельской-Белозерской, известной впоследствии Зинаиде Волконской, сыгравшей видную роль в литературно-художественном движении своего времени, обворожительной красавице, воспетой Пушкиным, Мицкевичем. О ней скажем несколько слов ниже. Сергей Григорьевич в то время еще не был женат; уже после смерти отца, можно сказать, накануне декабрьских событий, он женился на Марии Николаевне Раевской.

Из своего оренбургского одиночества сановный отшельник радостным оком следил за судьбою детей, как она катилась от грохота сражений к блеску придворных торжеств; и этот далекий шум тешил его сердце, пробуждал чувства родительской гордости. Это был удивительный старик, полный своеобразия. Современные мемуары изобилуют рассказами о его странностях. Сохранилось предание о том, что однажды он своего старшего сына Николая ударил по щеке. Мальчик ушел и заперся в своей комнате. Через несколько

минут раскаявшийся отец стучится в дверь, но сын не отпирает. Тогда слышится голос: „отопри, я стал на колени“. Сын отворяет дверь,—и оба, отец и сын, стоят на пороге друг перед другом на коленях. С годами его странности увеличивались; здесь, может быть, сказывалось влияние раны в голову, полученной при взятии Мачина. Но, в самом деле, невероятные подробности читаем о нем. В большой карете цугом выезжал он на базар, закупал провизию; позади кареты, по бокам ливрейных лакеев висели гуси и окорока, которые он раздавал бедным. Посреди улицы он вылезал из кареты, становился на колени, иногда в грязь, в лужу и творил молитву. Он был очень богомолен; на портрете работы Боровиковского он изображен с руками сложенными на библии. Вот как в своем стихотворении, поднесенном ему по случаю „пожалования ордера Святого Андрея Первозванного“, описывал Григория Семеновича некий Евреинов.

Я мимо Спаса шел по улице Сенной;
Гляжу—в часовне—кто он в ленте голубой?
Встревожился тогда, не верю я глазам,
Но вдруг представился Волконский князь очам.
. . . .
Иной бы получа такую благодать,
В театр бы поскакал, что б там себя казать,
А ты, достойный муж, в храм божеский спешишь...

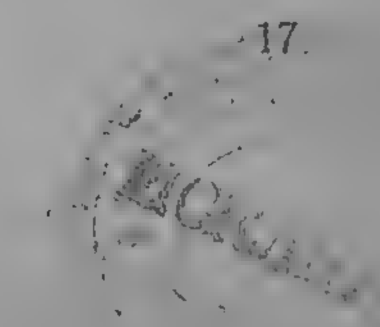
Другой современник пишет, что, если бы Св. Синод был осведомлен о чудесах, которые выделывает в Оренбурге князь Григорий Семенович, то, конечно, распорядился бы внести его в Четьи Минеи. Третий известный в свое время поэт, князь Ив. Мих. Долгорукий, говорит: „Странного будучи характера, он прославился в публике многими проказами, которые сделали его настоящим чудаком“. На улицах Оренбурга встречали военного губернатора гуляющим в халате поверх нижнего белья, а на халате все ордена; в таком виде он иногда заходил далеко, а возвращался на какой-нибудь встречной телеге.

Характера мягкого, добродушного, поэт в душе, страстный любитель старой итальянской музыки, Григорий Семенович в те времена, когда родительский авторитет в семье

и даже гнет почитался добродетелью, только любовался своею семьею, не направлял, не предписывал. Семейный корабль шел по волнам житейским к славе и почету, казалось, без кормчего. Письма его полны одними лишь „душевными сладчайшими сентиментами" к „дорогим обжектам" его родительской любви. Трогательны попечения о маленьких внуках, детях Софьи Григорьевны — „ангелах Александрине, Митюше и Григорие". Неусыпная чувствуется заботливость: „детей ангелов держи, голубушка, где их комната, чтоб всегда был чистейший свежий воздух, отнюдь не жаркая натопленная печь: никогда у ангелов кашля не будет". Какое-то библейское благоговение владеет им, всякий раз как он узнает, что дочь его „в благословенном положении". Но дальше нежных советов и увещаний авторитет родительский не идет. Интересны бытовые подробности. Происходит постоянный обмен с Петербургом. Ему высылают одеколон, оподельдок, жасминовой помады, пиперминт. От времени до времени получает он от дочери новый мундир и всегда приурочивает обновить его в тот или иной праздник. Празднества занимают большое место в оренбургской жизни. Кроме церковных и царских, празднуют и семейные именины и рождения, и оренбургское общество нераз танцовало, в то время как обыватели на улице любовались при пушечной пальбе на транспарентные вензеля Софьи Григорьевны и ее „ангелов—детей". „Все здешние красоты и жительствующее общество в день радостный, матушка княгиня Софья Григорьевна, ваших дражайших имени всеми щерьбетами угощаемы были. Горело в фейерверке ваше мне и всем приятное имя, за ужином многочисленные за виновницу пили тоасты с громом пушек. Ваше имя, князь Петра Михайловича и дитяти, Богом наданного князь Григорий Петровича, в пирамидах при разных огнях зажжено было,—далее за полночь, по здешнему обыкновению, угощаемые разъехались с полной любовью к вам, княгиня Софья Григорьевна".

От себя Григорий Семенович посылает в Петербург киргизских каурых лошадей, мока, чай,—все, что приносят караваны из „пределов Азиатских", также от казаков икру, белорыбицу, стерлядь. Большое место в переписке занимают





кашемировые шали, которые в то время были в такой моде; красивые, тонкие, пестрые; белая, предназначенная для императрицы Марии Феодоровны, — понравилась: „Обещаю Вам наряжаться в сию шаль при напоминании о вас... Шаль прекрасная и я очень чувствительна к намерению вашему мне удовольствие сделать“. Но не одним неодушевленным товаром балует Григорий Семенович родных своих и знакомых. Он просит позволения у дочери поставить у нее в доме, пока их не развезут по сановникам, „колонию коралькопаков, — до двух десятков... все угрюмые, и не хорошие лицами, все крещенные, и привита оспа“. На них тоже была в то время „мода“; когда Ларины приехали в Москву к старой тетке, четвертый год больной в чахотке, им отворил дверь

В очках, в изодранном кафтане,
С чулком в руке седой калмык.

О делах управления своего в этих семейных письмах Григорий Семенович мало говорит, но проходят в беглых набросках картины жизни того края: бунты непокорных казаков, сношения с ханами, научные экспедиции в поисках руды. Все это бегло, но широко и в постоянном общении с природой: „караваны у меня выходят богатые, торговля начинается, погода обещает плодородие“. Прямо поэтическим дуновением оживлены картины Урала, который он называет старым именем „Рифейские горы“. „Судя по описаниям об Альпийских горах, нельзя подумать, чтобы здешние горы с прекрасными долинами, покрытыми многочисленными стадами, не могли сравняться с оными: и здесь есть седые Альпы, покрытые вечным снегом, и здесь бьют каскады, и здесь есть утесы, устрашающие путешественников, но не страшные от того, что уже несколько веков грозят разрушиться над головами беспрерывных вояжеров и никогда еще не упадали“.

В одном только случае изменяется общий тон благодушия, которым дышат письма Григория Семеновича, — когда он чует, что где-нибудь запахло взяткой: „ежели откроется корыстность, превращу в ничтожество интересанта“.

„Азиатское одиночество“ Григория Семеновича нераз было услаждаемо посещениями членов его семьи. Сергей Григорье-

вич со старшим братом Николаем навестили отца в 1808 г., Софья Григорьевна приезжала в 1807 г. и второй раз с братом Николаем в 1816 году. Дважды посетила мужа княгиня Александра Николаевна—в 1805 и в 1816 г. Приезды супруги обставлялись пышно: Григорий Семенович выезжал к ней навстречу, лишь только приходила весть, что княгиня приближается „к пределам азиатским...“ Пределы эти понемногу начинают ему докучать, и есть указание, что заветной его мечтой было получить пост посла в Константинополе.

Таков был Григорий Семенович, таков он выступает из своих писем, — столь же привлекательных по настроению, сколько страшных по почерку своему: нельзя себе представить ничего более трудного, и к трудности письма прибавляется еще трудность своеобразной орфографии. За разборку этих писем особенно признателен Б. Л. Модзалевскому; если бы они не были в свое время разобраны им, если бы они не были напечатаны в первом — и единственном — томе „Архива Декабриста“, я бы не мог дать характеристики моего прадеда. Характеристика, конечно, неполная, хотя бы потому уже, что 1-й том останавливается на 1816 г., а Григорий Семенович умер в 1824 г. Но и сказанного, думаю, довольно, чтобы образ его вырисовался. Все заставляет думать, что настоящим главой семейства была — „ваша добродетельная мать, моя дражайшая супруга, княгиня Александра Николаевна“.

Дочь фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, статс-дама, обергофмейстерина трех императриц, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины первой степени, княгиня Александра Николаевна была характера сухого; для нее формы жизни играли существенную роль. Придворная до мозга костей, она заменила чувства и побуждения соображениями долга и дисциплины. Пока шел допрос декабристов и сын ее сидел в Петропавловской крепости, она уже была в Москве, где шли приготовления к коронации. Императрица, снисходя к ее горю, предоставила ей оставаться в своих комнатах. „Но—пишет ее внучка Алина своей матери Софье Григорьевне—бабушка ради этикета все таки присутствовала на представлении дам“. Этикет и дисциплина, вот внутренние, а, может быть, правильнее сказать,—внешние двигатели ее по-

ступков; все ее действия исходили из этих соображений; все чувства выражались по этому руслу. И надо сказать, что событие 14-го декабря поставило ее в трудное положение: первая дама в империи, и сын каторжник...

В 1824 г. (17 июля в 11 час. утра) скончался в Петербурге старый князь Григорий Семенович, после восьмидесятидвухлетней жизни и сорока четырех лет супружества, вкусив от земного своего существования все, что могут дать знатность, довольство, многочисленное потомство и незлобивый, добродушный характер. Княгиня схоронила его в Александро-Невской лавре, приготовив себе место, на котором легла сама десять лет спустя. Она переехала на житье в Зимний дворец, предоставив свой дом на Мойке у Певческого моста, тот самый дом, где впоследствии жил и умер Пушкин, — детям. Пока дети воевали или путешествовали; или пребывали на местах своего служения, княгиня проводила часы, свободные от обязательств придворного этикета и светского представительства, в обществе преданной своей компаньонки, француженки Жозефины. Эта Жозефина на страницах нашего архива занимает довольно видное место. Она была, как бы сказать, вторым центром семьи; в своих письмах она излучается ко всем ее членам, рассыпанным по лицу Европы; через нее они узнавали друг про друга, и к ней же стекались издалека семейные недоумения, домашние поручения. В жизни наших изгнанников почти целых пять лет, от 1831 до 1835 г., можно сказать услаждены тем, что приносил им в мрачное заточение ясный, биссерный почерк Жозефины. Это была непрерывная связь с течением семейной жизни, со всем тем беззаботным, счастливым, что осталось позади. Каждую пятницу шло письмо из Зимнего дворца в Сибирь и несло известия о помолвках, свадьбах, беременностях, рождениях, крестинах, зубках, болезнях, лечениях и проч. Изгнанники наши ценили доверия заслуживающую точность и правдивость этих писем, а самую Жозефину Сергей Григорьевич, декабрист, называл не иначе, как ma soeur (сестра).

Письма Жозефины ценны еще и в бытовом отношении. Видим в них всю закулисную челядь старого барского житья;

в них девичья, слышится и кухня, отголоски конюшни. Но больше всего, конечно—девичья. Сколько их, начиная с кастелянши Екатерины Семеновны Крыловой! Была Агрипина, была Акулина, была Василиса, была незаменимая Груша, мастерица на все руки, которая раз даже в Москве, во время коронации, когда француз парикмахер опоздал, сама причесала Алину „по-гречески“, так что все на балу хвалили. Еще была Жюленька, которая из девочек выросла и доучилась до того, что „заступила место Екатерины Семеновны“, о чем однажды сама извещала Сергея Григорьевича в письме, которое ему писала по поручению Жозефины, болевшей в то время глазами. Наконец, шмыгало по корридорам Зимнего, Кремлевского, Таврического дворцов, в аппартаментах старой княгини, немало калмычек, — то были от князя Григория Семеновича дары Азиатских степей...

У меня была прелестная картина, изображавшая,— в гостиной Зимнего дворца этих двух женщин, столь крепко спаяных жизнью и столь мало друг на друга похожих. За круглым столом сидит, раскладывая пасьянс, княгиня Александра Николаевна Волконская, в кресле на колесах, грузная, в белом атласном платье, а напротив нее—тоненькая, в клетчатом шелковом платье, ее компаньонка Жозефина Тюрненже. Обе в широченных чепцах; только чепец Жозефины легкий, кисейный, а чепец княгини с тяжелыми атласными лентами и бантами, которые как пламя расходятся вокруг большой некрасивой головы. У нее было красное лицо с мясистыми щеками, небольшим крючковатым носом и большими на выкат глазами. Она ходила грузной походкой, говорила,—судя по странной привычке в письме удваивать согласные,—сухо, чеканно. В суждениях ее чувствовался обычай, уклад, неоспоримость того, что установлено привычкой, освящено повторностью. Портретов ее у меня было пять—шесть; между прочим один „акварельный“, писанный ею самой и, согласно собственноручной надписи, ею же самой подаренный сыну Никите в день его рождения; ни на одном из портретов не выглядят так страшно ее большие на выкат глаза, ни на одном пестрые банты чепца не стоят таким алым пожаром вокруг красного лица и ни на одном не сияют таким блес-

ком ордена, знаки отличия и обсыпанный алмазами медальон с портретами императриц. У меня хранилась прядь ее волос, белой, совершенно серебряной седины. Наконец, еще упомяну, что кресло на колесах, изображенное на картине, перешло к внучке ее, дочери декабриста, Елене Сергеевне (сперва Молчановой, потом Кочубей, потом Рахмановой) и хранилось в имении последней Вороньки, Черниговской губернии. В этом кресле декабрист, вернувшись из Сибири, часто сидел, в особенности последний год своей жизни; в нем сидя, писал свои „Записки", с него сойдя, перешел на смертный одр...

Таковы по письмам, по портретам, по преданию, черты той, которая была матерью декабриста. О ее отношении к нему во время процесса и впоследствии, во время ссылки, поговорим ниже.

В начале 1825 г. (11 января) Сергей Григорьевич сочетался браком с Марией Николаевной Раевской, дочерью генерала Николая Николаевича Раевского, известного участника Бородинского сражения и защитника Смоленска. Свадьба была в Киеве; Раевские были киевляне; их имение Болтышка было в Киевской губернии; там же под Киевом была усадьба матери Николая Николаевича,—Екатерины Николаевны,—знаменитая в истории декабризма Каменка. Здесь, в этом семейном гнезде, под крылом гостеприимной хозяйки, среди разливанного моря старого помещичьего хлебосольства, по ночам происходили тайные заседания тайного политического общества.

III

Старуха Екатерина Николаевна, мать Николая Николаевича Раевского, была одною из многочисленных племянниц Потемкина, урожденная Самойлова. Она вышла замуж столь молодой, что первый год замужества часто тайком от мужа играла в куклы; как зазвенят бубенцы, возвещающие возвращение супруга, так тотчас куклы быстро убирались. Этот брак устроенный отцом девушки, по старому обычаю, без совета молодых, был непродолжителен; Екатерина Николаевна оста-

лась молоденькой вдовой с сыном Николаем на руках, будущим героем отечественной войны. Вскоре она вторично вышла замуж, уже по любви, за Льва Васильевича Давыдова. От Давыдова она имела многочисленное потомство.

Кроме своих детей, у нее воспитывалось огромное количество племянников. С ними вместе воспитывалась дочь старика дворецкого, на правах приемной дочери, но соблюдался такой обычай: когда отец, обнося блюдо, доходил до дочери, дочь должна была встать и поцеловать ему руку. Она впоследствии вышла замуж за Стояновского и была матерью известного в свое время председателя департамента законов и Императорского Русского Музыкального Общества. По старому обычаю, дом кишел приживальщиками и приживалками. Екатерина Николаевна Давыдова, как племянница Потемкина, была так богата, что из одних заглавных букв принадлежавших ей имений можно было составить фразу: „Лев любит Екатерину". К тому времени, о котором говорим, т. е. к 1825 г., высокие хоромы огромного Каменского дома оглашал „веселый шум семейной деревенской жизни"; оживляли его постоянные наезды гостей, нескончаемые празднества. Центром этой жизни была жена одного из сыновей Екатерины Николаевны, Александра Давыдова, обворожительная Аглая, — француженка, дочь герцога Грамона, которую воспевал Пушкин, про которую один современник писал, что всё, начиная от главнокомандующих до корнетов, умирало у ее ног. Все это жило, а по выражению того же современника, — „жило и ликовало", и не замечало, что тут-же, под тем же кровом назревало что-то тайное, чему суждено было развернуться в нечто страшное.

В одной из верхних комнат окно до поздней ночи, когда все уже в доме спало, оставалось освещенным. Что там происходило? Этот вопрос задавал себе неоднократно инженер Шервуд, приглашенный в Каменку, чтобы поставить мельницу на реке. Однажды дав ход своему любопытству, он взлез на дерево. Он увидел вокруг стола заседающих заговорщиков. Окно было открыто, он все слышал... Каждую ночь Шервуд взлезал на дерево и, наконец, в Петербург полетел донос. Этот донос, направленный Аракчееву, был Арак-

чеевым представлен Александру I; у Александра I он залежался и не получил движения. Николай I впоследствии прозвал его „Шервуд верный“; декабристы перекрестили его в „Шервуд скверный“.

Фактическая история декабристов достаточно известна; их мысли, их стремления, их пути и достижения могут быть изучены по книгам. Я на этих страницах задался целью рассказать то, чего в книгах нет, и потому только в двух словах скажу,—для того читателя, который бы этого не знал,—кто такие декабристы. Цвет русской молодежи, преимущественно офицерство, в начале девятнадцатого столетия, вверженный в военное брожение, охватившее Европу, увлеченный Наполеоновскими войнами, увидал „заграницу“. Эти молодые люди соприкоснулись с укладом тамошней государственной и общественной жизни, оценили разницу этих условий с теми, в которых жили у себя на родине. Уже ранее того воспитание поставило их в противоречие между тем, чему их учили, и тем, что делалось вокруг них. Взрощеные в принципах французской философии XVIII века, они жили среди крепостного права... Когда они вернулись домой, они уже не могли примириться с действительностью. Они задумали ряд реформ. В основу легло освобождение крестьян, а затем целый ряд пожеланий, из которых многие и посейчас представляются нам несбыточными мечтаниями. Они желали конституции, народного представительства, гласного суда с участием присяжных, свободы печати и проч.

В десять лет Тайное Общество сплотилось, окрепло, но, как показали впоследствии события, у него не было, при тогдашнем отсутствии телеграфа и железных дорог, при рассыпанности членов его от Киева и Кавказа до Петербурга,—у него не было возможности столковаться и средств упрочиться. Тем не менее ждали случая выступить. Случай думали найти в той исторической заминке, которою было отмечено вступление на престол Николая I.

Старший брат, Константин, отказался от престола в пользу Николая, но об этом официально не было известно, и в то время, как императрица Мария Федоровна приглашала сына Николая преклониться перед братом за его великодушие

(„Prosternez-vous devant votre frère“), государственные учреждения и войска не знали, что делать. Одни присягали Николаю, другие Константину. Офицеры, члены Тайного Общества, воспользовались замешательством, вывели свои полки на Сенатскую площадь (14 декабря 1825 г.). Произошел бой, окончившийся подавлением мятежа. Неудачная попытка раскрыла еще одну слабую сторону заговора: у них не было никаких корней. Народ не знал о них. Солдаты повиновались офицерам либо из побуждений слепой дисциплины, либо даже под туманом недоразумения: они кричали: „Да здравствует конституция“, но многие думали, что „Конституция“ есть женский род от слова „Константин“ и что этим обозначается жена Великого князя Константина Павловича...

Вспышка на Сенатской площади была, выражаясь современным языком, „ликвидирована“ к вечеру того же дня. На поле сражения вокруг памятника Петра Великого осталось много раненых, Исакиевский мост провалился под тяжестью спасавшейся толпы; был убит командующий петербургскими войсками граф Милорадович, произведена масса арестов, и с разных концов России поскакали в Петербург под конвоем фельдъегерей арестованные офицеры, члены Тайного Общества. В числе их был и князь Сергей Григорьевич Волконский.

Он был арестован в Умани, где находился по долгу службы. Привезенный в Петербург, он был помещен в один из казематов Алексеевского равелина Петропавловской крепости в первых числах января.

Самое патетическое, самое драматическое, что есть в нашем архиве, это, конечно, письма 1826 года. Бомба, разразившаяся в Петербурге 14 декабря, застала разных членов семьи в разных местах. Княгиня Мария Николаевна была в Болтышке, Киевской губернии, имении ее отца, где со дня на день ожидала разрешения от бремени. Мать декабриста, княгиня Александра Николаевна, была в Петербурге, при вдовствующей императрице Марии Федоровне. Сестра декабриста, княгиня Софья Григорьевна, бывшая с мужем, князем Петром Михайловичем Волконским, при кончине императора Александра I, находилась в пути, сопровождая тело государя из Таганрога в Петербург. К ней навстречу из Петербурга

ехала дочь ее Алина, любимая племянница Сергея Григорьевича. Старший брат находился на месте его служения в Полтаве, жена его княгиня Алексеевна с детьми была в Париже. Брат Никита был в Москве, там же была его супруга, обворожительная княгиня Зинаида. Семья Раевских была не менее разбросана. Родители Марии Николаевны были с нею, ожидая ее родов; тут же была ее младшая сестра Софья Николаевна; другие две сестры были в Москве; братья Александр и Николай были отвезены в Петербург для допроса, который, как известно, кончился их полным обелением и высочайшим о том рескриптом на имя их отца.

При такой разбросанности членов обеих семей, обмен письмами не мог быть весьма значительным. Самое ценное, конечно, среди массы писем к этому году относящихся, это письма самой Марии Николаевны к Сергею Григорьевичу. Трудно себе представить что-нибудь более патетическое, чем эти письма жены к мужу. От первого, написанного из деревни через два дня после известия об аресте, в котором она уже говорит, что поедет за ним в Сибирь, до последнего, написанного в Нерчинске и начинающегося словами: „Наконец я в обетованной земле“, — это, можно сказать, один гимн любви, преданности и чувства долга. Высокий дух этих писем, непоколебимая стойкость в принятом решении, еще больше выступают при ознакомлении с письмами, которые молодая княгиня получала от своих родных. Только теперь ясно становится, через что она прошла, какую выдержала борьбу. Она не только встретила неодобрение своему решению следовать за мужем,—она, можно сказать, была окружена заговором, обойдена сетью. И ведал этим заговором, как ни трудно верится, ее родной брат Александр Николаевич Раевский. Есть письмо его к княгине Софье Григорьевне Волконской (сестре декабриста), в котором он извещает ее, что, получив от отца предписание наблюдать за спокойствием сестры, он предупреждает княгиню, что ее письмо к сестре он вскрыл и что оно не будет передано по адресу... Понемногу правда стала выплывать: Волконские, которым решение Марии Николаевны, понятно, было приятно, стали писать в двух, трех экземплярах, пользовались

„оказиями“. Недоразумение, однако, между обеими семьями залегло глубоко. Каждая семья считала своего члена жертвою членов другой семьи. Княгиня Софья Григорьевна писала старухе матери о братьях Раевских: „это исчадие ада“ (une émanation infernale) и прибавляла, что брат Сергей, конечно, никогда не признается, что был ими обойден. Старик же Раевский через месяц после отъезда Марии Николаевны в Сибирь, писал дочери Екатерине, что, поехав, она повиновалась не чувству, а „влиянию Волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня,—и поехала, как дурочка“. Вся семья упрекала ее в экзальтации и недостатке рассудительности, а Волконских обвиняли в том, что они ее взвинчивали и торопили ехать, даже не удостоверившись, готова ли она в материальном смысле к отъезду. Братья никак не могли примириться с ее решением и сурово осуждали ее мужа. Николай Раевский много лет спустя, в 1832 году писал сестре, что он никогда не простит ее мужу жестокость, с какою, женившись на ней, он сократил жизнь их отца и сделался виновником ее несчастия. Но больше всех негодовала родная мать Марии Николаевны.

IV

Софья Алексеевна Раевская, жена генерала Николая Николаевича, была дочерью Константинова, библиотекаря Екатерины Великой и по матери — внучкой Ломоносова. Женщина характера неуравновешенного, нервная, в которой темперамент брал верх над разумом. Под впечатлением минуты она иногда в своих письмах к дочери делает ей сцены; и это в Сибирь, за восемь тысяч верст... При этом, женщина характера сухого, мелочного, в глазах которой подвиг дочери есть только семейное осложнение, неудобное для всех, вредное для карьеры братьев и отца. Последнее соображение больше всего, повидимому, ее мучило: преданность мужу владеет всем ее существом; несмотря на многочисленное свое семейство, она до последних дней своих оставалась более супругой, нежели матерью. Но каково было дочери еще

в 1829 году — значит через три года после событий — получать в Сибири фразы вроде следующей: „вы говорите в письмах сестрам, что я как будто умерла для вас. А чья вина? Вашего обожаемого мужа... Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому проклятому заговору. Не отвечайте мне, я вам приказываю". Скажем мимоходом, что вся семейная переписка проходила на французском языке, вот почему встречаемся с местоимением „вы" больше, нежели с „ты".

Да, мало поощрительна была обстановка, в которой созревал план и производились сборы княгини Марии Николаевны. Родной отец только скрепя сердце согласился на ее отъезд, когда увидел, что все предосторожности ни к чему, и отпустил ее не иначе, как под условием, что она вернется через год, а мужу ее писал: „Надеюсь, что ты не сделаешься эгоистом и не будешь ее удерживать". В своих „записках" княгиня Мария Николаевна вспоминает страшную сцену, когда, перед прощанием, отец грозил ей проклятием, в случае если она не вернется. Сцена эта, впоследствии воспроизведенная Некрасовым в его поэме „Русские Женщины", вызвала негодование со стороны сестер Марии Николаевны, надолго ее переживших. Они сочли ее выдумкой „господина Некрасова", и Софья Николаевна заготовила горячую, и, надо сказать, очень нелогичную статью, в которой обеляла память отца от подобной клеветы. Статья предназначалась для распространенной в то время газеты „Голос", но не была напечатана вследствие настояния ее племянника Николая Михайловича Орлова. Но как же добрые старушки удивились бы, если бы узнали, что возмутившая их сцена вовсе не выдумана „господином Некрасовым", а описана в собственноручных, тогда еще не изданных записках их сестры.

Но о поэме Некрасова скажем ниже; здесь только упомянем, что не одна эта сцена возмутила наших старушек. По поводу прогулки по берегу моря, под восторженными взглядами Пушкина, Екатерина Николаевна Орлова сказала: „Вовсе мы не так были воспитаны, чтобы с молодыми людьми бегать по берегу моря и себе ботинки мочить"...

Жестокая страстность сцены прощания дочери с отцом не меняет ни высокого характера Николая Николаевича, ни его любви к дочери и нисколько не подвергает сомнению искренность тех прелестных писем, которые он ей после этого писал. Проявления сильных душевных порывов могли уживаться с проявлениями отцовской нежности в характере Смоленского героя, которого племянники Давыдовы называли: „черный дядя". Его письма к „Машеньке" или о ней к сыну „Алексаше" полны такого нежного чувства к дочери, что раскрывают совершенно новые, нам, потомкам, неведомые струны в характере того, про кого Наполеон говорил, что он создан из материала, из которого делаются маршалы. Его отношение к отъезду дочери прошло через мучительную эволюцию. Из писем его к сыну Александру и из писем сестер друг к другу видно, как он сдавался неохотно, понемногу. Как увидим ниже, княгиня Александра Николаевна объявила, что поедет к сыну в Сибирь. 3-го августа Николай Николаевич пишет: „Старуха едет к сыну, чему я не верю". И несмотря на то, а может быть именно потому, что он этому не верит, он ставит свое разрешение на отъезд дочери в зависимость от поездки старухи: „поедет свекровь, может ехать и она". Удивительным благородством, высоким беспристрастием отличаются его отзывы об арестованном зяте; он отдает должное достойному его поведению, прямоте его ответов. Это не совсем совпадает с отношением братьев к мужу сестры. Софья Николаевна пишет сестре Екатерине, что брат Николай в противность отцу нарисовал поведение Волконского в самых скверных красках.

Сестры в это трудное время выказали много участия к Марии Николаевне. При отъезде ее из Москвы, Екатерина Николаевна снабдила ее многим необходимым в дорогу и даже заставила надеть свою собственную шубу. В дальнейшем отношение сестер к ее положению не отличалось тою теплотой, какой бы можно было ожидать в столь тесной и дружной семье. Надо сказать, что боготворение отца в семье Раевских заслоняло собой все другие чувства; мы видели отношение братьев, отзыв Николая о Волконском; сестры конечно думали также; тот факт, что она огорчала отца, ка-

зался им более значительным, чем само горе сестры. Кроме того, надо принять во внимание и характеры и обстоятельства жизни. Любимой сестрой Марии Николаевны была Софья Николаевна; Екатерина Николаевна была немного старше, сестры даже называли ее „бабушка"; к тому же она была в то время уже замужем, следовательно, имела свои семейные интересы. Елена, хотя была старше Марии Николаевны, внушала к себе скорее материнские чувства и повидимому не могла быть сильной поддержкой в горе. Но и Софья Николаевна, хотя и любимая, поражает в своих письмах дидактизмом своего отношения к сестре. В ней всегда чувствуется гувернантка; она или порицает или одобряет, и иногда прямо удивляться приходится сухости, с какой она отвечает на запросы изгнанницы - сестры. Нельзя не отметить и того, что из всех сестер, только Елена никогда не забывала прибавить в письме поклон „Сергею". Это внимание так же дорого ценилось Марией Николаевной, как больно огорчало молчание других...

Мы несколько забежали вперед, заговорив о письмах Сибирского периода; но нам показалось это удобным, во всяком случае кратким способом обрисовать семейные настроения, при которых пришлось Марии Николаевне проявлять свою настойчивость в выполнении задуманного плана. Мы еще встретимся с членами семьи Раевских на пути нашего рассказа, но с отъездом Марии Николаевны Болтышка погружается в уныние. Набежавшая на Каменку туча не на долго ее омрачила: „ликования" скоро возобновились и продолжались, пока живо было то поколение. Но какой-то рок над нею тяготел. Говорят, через неделю после смерти старухи Екатерины Николаевны, уже на полках, на этажерках-в шкапах, в комодах ничего не оставалось: стая приживальщиков все реквизовала. Не в наши дни, конечно, удивляться исчезновению семейных гнезд; но Каменка исчезла много раньше революции. Еще в 1830 году Мария Николаевна пишет из Сибири про „огромный Каменский дом". Я был там каких-нибудь шестьдесят пять лет спустя,—от дома не оставалось и следа. Я застал еще в живых сына декабриста Василия Львовича Давыдова, Николая Васильевича; он ребен,

ком оставался в России, как родившийся до ссылки отца, следовательно, когда я его видел, ему было под девяносто лет. Статный, красивый, с еще темными бакенбардами, он лежал больной,—приближалась болезнь, которяя унесла его через несколько недель; в лихорадке густым громким голосом он говорил стихи. Он еще помнил старую Каменку; он помнил, как еще детьми они подглядывали в замочную скважину и видели на биллиарде сидящего и пишущего с лихорадочной поспешностью „курчавого поэта"; лист за листом отбрасывал он на середину биллиарда: то писался „Кавказский пленник", посвященный Николаю Раевскому.

Да, это поколение еще помнило, следующее уже играло в канавках, где был фундамент старого дома, и с любопытством подбирало в канавках раковины устриц,—остатки дедовских ликований. Следующее поколение уже и этого не видело. Когда я был в Каменке весною 1915 года, на месте старого дома цвели яблони. Теперь? Теперь, может быть, остался еще в саду „Пушкинский грот", а против него, по другую сторону запруды—белая, круглая, в ампирном стиле мельница Шервуда...

V

Сергей Григорьевич сидел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Допрос начался в январе, приговор был приведен в исполнение в половине июля. Процесс достаточно известен и по официальным документам, и по многочисленным мемуарам. Из „Записок" Сергея Григорьевича мы об этом ничего не узнаем. Он рассказывает как его привезли в Зимний Дворец; генерал Левашев оставил его дожидаться, пошел доложить государю. Через несколько минут дверь отворилась, Государь быстрым шагом вошел и, грозя пальцем, сказал: „я".... На этом слове „я" Николая I обрываются „Записки" декабриста Волконского...

Неведение семей о предстоящей судьбе осужденных было тем тягостнее, чем длительнее тянулся процесс и чем противоречивее были слухи. Тем временем, несмотря на не-

умолимость, с которой относился к декабристам Николай I и которую сохранил до последнего дня своей жизни, общение с заключенными не было безусловно запрещено. У нас сохранилось много писем на его имя, помеченных Петропавловской крепостью, как местом получения их. Начиная с матери, все родственники тем или иным образом откликнулись на роковое событие, выразили узнику чувства соболезнования. Старуха княгиня написала сыну четыре письма (это единственные русские письма, все последующее в течение пяти лет писаны по французски) и уехала в Москву, куда „угодно было императрице Марии Федоровне меня назначить ехать с собой“ — начинались приготовления к коронации. Как известно, коронация задержалась и была отложена вследствие смерти императрицы Елизаветы Алексеевны, скончавшейся в пути из Таганрога в Петербург 4-го мая в городе Белеве. 13-го июля печальное шествие царственных колесниц прибыло в Чесменский дворец, и в тот же день Алина Волконская, дочь Софьи Григорьевны, с разрешения Государя, посещает дядю в крепости. Очень ценны ее некоторые замечания, рисующие настроение старухи княгини в это тяжелое для нее время, при самых небывалых обстоятельствах. „Бабушка вчера много плакала, сегодня почти не спала“. „Императрица была у бабушки, утешала ее“. „Государь просил бабушку утешиться, не смешивать дела семейные с делами службы, — одно другому не помешает“. И действительно, на коронацию она получила бриллиантовые знаки ордена Св. Екатерины. Императрица и сама, надо думать, чувствовала некоторую неловкость по отношению к старой княгине. После 13-го июля, дня, когда состоялся приговор над декабристами, она пят дней не видала княгиню и только 18-го числа написала, наконец, записку, в которой говорит, что мысль о свидании с ней причиняет ей боль, и которую кончает просьбой принять ее благожелательно и не переставать верить ее старой дружбе: „Recevez-moi bien et croyez toujours à mon ancienne amitié“. 20-го июля Алина пишет: „Бабушка говорит, что она хочет ехать в Сибирь повидать сына“. Об этом своем намерении старая княгиня писала и невестке. Придавать ему большое значение не приходится, —

это был истерический порыв, а, может быть, простое излияние слов. Съездить навестить сына в крепости было много легче, нежели ехать в Сибирь; однако старая княгиня от этого воздержалась. Она писала сыну, что боится за свои силы, да и его не хочет подвергать такому потрясению; к тому же, как пишет Алина, императрица упрашивала бабушку беречь себя...

Пока родня в круговороте коронационных приготовлений с оглядкой перешептывалась, Сергей Григорьевич в своем каземате Алексеевского равелина слушал бой курантов на башне Петропавловского собора.

Остался от этого времени акварельный портрет Марии Николаевны, который ему было разрешено иметь в крепости. Этот портрет он перед уходом в Сибирь оставил сестре с следующей на нем надписью: „Je confie aux soins de ma bonne soeur Sophie celle qui avait assuré mon bonheur détruit par moi". (Поручаю заботам моей доброй сестры Софии ту, которая составила мое счастье, разрушенное мной). Портрет этот остался у меня в Риме и таким образом уцелел... Была также крохотная записочка на листике в полтора квадратных вершка, мелко написанная его рукой; он просит сестру, расположить в их пользу общественное мнение, повлиять на смягчение участие жен и пр. Записочка эта была передана Софье Григорьевне запеченная в хлебе. Где она сейчас, не знаю..

Невольно напрашивается вопрос, что сказал бы Григорий Семенович, если бы дожил до 1826 года? Он, для которого действительность была идеалом! Он, который верил в несомненность окружающего, как в нерушимость весеннего и осеннего равноденствия! Он, для которого, повидимому, не существовало „вопросов"! Что бы испытала безоблачная лазурь его мировоззрения, когда он узнал бы, что „герой наш князь Сергей" поднялся на царя? Как мог бы он это обнять умом своим, он, писавший дочери: „утешаюсь, матушка, что ты беспрерывно занята наилучшими в жизни упражнениями при Высочайшем Дворе"? Можно ставить себе вопросы, но и сама история не решается отвечать на них: Григорий Семенович умер за полтора года до ареста сына. Одно можно сказать,—несуразна русская жизнь, но шагает быстро...

Мария Николаевна узнала об аресте мужа 28-го февраля. Отец передал ей эту весть с значительным запозданием, потому что она лежала в тяжкой болезни после родов. Как только она оправилась, она собралась в Петербург. Первенца своего Николиньку, она оставила по пути, в Белой Церкви, на попечение своей тетки графини Браницкой. В Петербурге, в начале апреля, она имела с мужем то свидание в крепости, о котором упоминается в ее „Записках". Добилась она этого свидания не легко. Она написала Бенкендорфу, который ответил ей в весьма теплых выражениях, соболезнуя судьбе своего бывшего школьного и боевого товарища, но относительно свидания не говорил ничего определенного. Тогда она обратилась с письмом к государю. В наших бумагах была черновая этого письма; но была и другая черновая: брат Александр Николаевич пишет Бенкендорфу, от имени матери и своего, просьбу о том, чтобы свидание не было разрешено, — мать и брат боятся за здоровье Марии Николаевны; но прибавляют они, если будет разрешено, то пусть предварительно граф Орлов повидает Волконского и возьмет с него слово, что он не только не будет удерживать жену, но потребует, чтобы она немедленно возвращалась к своему ребенку. Повидимому, так все и произошло. Письмо Бенкендорфа от 12-го апреля, а 23-го княгиня пишет мужу: „я уезжаю завтра, раз ты этого желаешь". Достойно замечания, что черновые обоих писем к Бенкендорфу, т. е. просьба о свидании и просьба о том, чтобы свидание не было разрешено, писаны одной рукой, — рукой Александра Николаевича Раевского...

Мария Николаевна вернулась к своему Николиньке в Александрию, усадьбу графини Браницкой при Белой Церкви. Здесь она ожидала исхода суда над государственными преступниками. Здесь же был в это время брат ее Александр Николаевич, окружавший бдительным вниманием ее переписку в напрасной надежде разбить ее намерение следовать за мужем.

Семьи осужденных до самого последнего дня оставались в неведении относительно участи несчастных своих родственников. Волконские до последней минуты не теряли

надежды. Есть письмо княгини Софьи Григорьевны к матери, в котором она строит планы о том, в какую комнату они поместят Сергея, когда он будет выпущен из крепости. Но оснований к той или другой надежде не было никаких; никто не смел замолвить слова; старуха княгиня боялась дохнуть и только исполняла совет императрицы — берегла себя. Наконец числа 15-го июля Екатерина Николаевна Орлова пишет сестрам: „Императрица сказала княгине Волконской, что Сергей останется жив“. Это сказалось наибольшее, на что можно было надеяться.

Приговором Верховного Суда Волконский, причисленный к первой категории, был осужден на смертную казнь отсечением головы; высочайшей резолюцией, смягчавшей все степени наказаний всем ста двадцати одному преступнику, смертная казнь заменена двадцатилетней каторгой и пожизненным поселением. Пяти человекам, верховным судом поставленным вне категории и присужденным к четвертованию, четвертование заменено повешением. В чудное июльское утро одна фрейлина, гуляя по Царскосельскому парку, остановилась на берегу пруда: на той стороне император Николай I играл со своим пуделем; бросал в воду свой платок, пудель кидался в воду, выносил и возвращал... В это время подходит к государю адьютант и что-то докладывает. Николай I бросает и пуделя и платок и быстрыми шагами возвращается во дворец: ему было доложено, что в ту ночь приведен в исполнение смертный приговор над пятью из декабристов... Известен случай с Рылеевым, — у него оборвалась веревка, его вздернули вторично. Между двух повешений к нему вернулся дар речи. И вот тут разногласие, — что он сказал? По одним он сказал: — „Подлецы, даже повесить не умеют“. По другим он сказал: — „И веревки порядочной в России нет“. По свидетельству Марии Николаевны он сказал: „я счастлив, что дважды умираю за отечество“. Кому верить? Скажу, что это пожалуй, не важно, — что он сказал. Он, может быть, ни одной из трех фраз не сказал; но важно, что и кому можно приписать. И вот почему последнее изречение наиболее ценно, ценно, как определение человека.

Другая картина из той же страшной ночи: вокруг пяти виселиц гарцующий на своем коне генерал Чернышев; сабли которые ломают над головами коленопреклоненных, раздетых офицеров; ордена, летящие в костер...

Всякая власть всегда карала и, конечно, будет карать тех, кто против нее восстает. Здесь разница только в степени строгости и в масштабе ее применения. Это разница, так сказать, количественная. Но есть и качественная разница, проявляющаяся в том, как закон применяется. Здесь имеет значение большее или меньшее соблюдение общечеловеческих требований. В конце концов смертная казнь всегда останется смертною казнью, и сухость ее ничем не смягчить, но жестокость ее увеличить всегда можно. И вот в этом сказывается уровень человечности той власти, которая ее применяет. Долго нам казалось, что жестокость кары декабристов не может быть превзойдена...

Княгиня Мария Николаевна томилась в невозможности выехать так скоро, как бы хотелось; и материальные вопросы, и всякие формальности, и приставания родных... Уже осень наступала, а она все еще была в Белой Церкви. 2-го сентября Николай Николаевич пишет ей, что один приезжий из Иркутска встретил „несчастных“ под Екатеринбургом, что он видел Волконского — „ни в чем не нуждающегося“. Наконец 9-го октября она выехала. Мать и сестра приехали, чтобы проводить ее до Яготина, полтавского имения Репниных. Здесь прожили последние две недели вместе и, наконец, пробил последний час: мать и сестра должны были ехать домой. Племянница Марии Николаевны, княжна Варвара Николаевна Репнина, присутствовавшая при отъезде из Яготина Раевских дам, в прелестных своих неизданных записках говорит: „Leurs adieux furent déchirants“ (Их прощание было душу раздирающее).

Полна тревоги ехала княгиня в Петербург. Получит ли она разрешение на отъезд в Сибирь? Как отнесутся к ней власти? Как отнесутся те из родственников мужа, которых она еще не знала? Наконец, самый мучительный вопрос: позволят ли ей взять с собой ребенка? Если не разрешат, к кому она его пристроит? Полна тревоги ехала княгиня,

а между тем полны прелести и радости ее письма с пути, озаренные улыбкой Николиньки. Путешествие, хотя и тягостное по цели, протекало с приятностью, Николинька перенес его прекрасно и был весел всю дорогу. Одно только печалит княгиню: она все хочет его заставить сказать „папа", а у него все выходит „мама". Зато, когда он смеется, ее радость не знает границ, ее дорожная карета озаряется светом... Все это читает в своем сибирском заточении Сергей Григорьевич; на всех этих письмах помечено его рукой: „получено такого-то числа, Благодатский рудник"...

Числа 10-го ноября Мария Николаевна приехала в Петербург и остановилась в доме свекрови на Мойке у Певческого моста, в той самой квартире, где одиннадцать лет позднее умирал Пушкин.

VI.

Мы подошли к самому трепетному моменту в трепетной жизни Марии Николаевны. Все что было высокого и нежного в природе, все что было лирического в ее характере и драматического в ее положении, все сгустилось, сосредоточилось в пределах этих нескольких недель, проведенных ею в Петербурге перед отъездом в Сибирь.

Центральная фигура этого момента — маленький Николинька. Жгучей болью проходит через все письма того времени вопрос об этом ребенке. Николай I не позволил женам декабристов, отъезжавшим за мужьями взять с собой своих детей. Дети, родившиеся в России, должны были оставаться в России. Может быть, это был со стороны государя тактический прием, средство воспрепятствовать отъезду жен. Так же смотрели на дело и родственники, — они надеялись, что мать возьмет верх над супругой. Княгине Волконской никто из сестер и братьев не сказал, что прекрасно ехать за мужем, но все говорили, что жестоко покидать сына. Между тем в одном из первых писем к отцу она говорит: — „Мой сын счастлив, мой муж несчастен, — мое место около мужа". Много мужества, стойкости, терпения пришлось Ма-

рии Николаевне выказывать впоследствии в течение всей жизни, но никогда обстоятельства не предъявляли ей таких требований, как в эту страшную минуту отъезда.

Как все жены декабристов во всех отдельных случаях, так и она должна была за разрешением на отъезд обратиться с личной просьбой к государю. Полна трагизма сцена, когда мать читает ответное письмо императора Николая, в котором государь предупреждает ее об ожидающих ее за Иркутском ограничениях, а маленький сын на ее коленях играет и забавляется большой красной печатью на конверте царского письма. Это последнее упоминанье княгини о Николиньке перед отъездом; она простилась с ним с сонным, чтобы больше его уже не увидеть... Предостережения государя не только не остановили ее, они как будто дали ей последний толчок к отъезду. Письмо от 21-го декабря получено было ею вечером,—она выехала в четыре часа утра. Это письмо я нашел в сундуке на чердаке нашего бывшего петербургского дома. Я снял с него фотографический отпечаток для будущего предполагавшегося издания...

Остался прелестный портрет работы Соколова, писанный как раз в это время, перед отъездом Марии Николаевны: с белым покрывалом на голове, в синем платье, с шитыми золотом рукавами, держит она, грустная, своего первенца на коленях. Один из популярнейших портретов того времени, много раз воспроизведенный, и это не помешало одному иллюстрированному журналу во время войны отпечатать его с надписью: „тип галицийской крестьянки". Оригинал принадлежал моей родной тетке Елене Сергеевне Рахмановой и находился до революции в ее имении Вейсбаховка Прилукского уезда Полтавской губернии.

Ребенок остался на попечении бабушки и тетки. Бабушка сильно к нему привязалась. Софья Николаевна Раевская пишет сестре в Сибирь: „Старая княгиня, повидимому очень любит твоего сына, если вообще можно сказать, что она кого-нибудь любит, кроме своей внучки Алины". Кратковременная земная жизнь маленького Николиньки была окружена лаской. Кроме родных, бабушки и тетушек, окружали его нянюшки и мамушки, — целый штат барской челяди

Среди них — вывезенная Марией Николаевной из Болтышки Аграфена, эту Аграфену княгиня впоследствии слезно молила приехать в Сибирь, но так и не дождалась. Мы знаем из писем, что лечил Николиньку доктор Лан и что ласкала и няньчила его также некая M-e Imbert, бывшая компаньонка жены Жерома Бонапарта, которая как-то в Женеве присоединилась к кому-то из семьи и осталась с ними жить. Странное сближение, — но княгиня Мария Николаевна из Читинского острога горячо благодарит M-e Imbert за заботы, которыми она окружала Николиньку до последнего дня его жизни. Ласки и заботы оказались бессильны против силы судьбы: 17-го января 1828 года Николинька скончался. Память ребенка увековечена знаменитой эпитафией Пушкина:

В сияньи, радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Эти стихи княгиня получила в Сибири в письме и рукою ее отца, который прибавлял: „Посылаю тебе, друг Машенька, стихи Пушкина на твоего сына. Он до сих пор никогда лучшего не написал“. Николай Николаевич добавлял, что стихи будут высечены на могиле ребенка. Мы знаем, что он похоронен в Александро-Невской Лавре, но могилы его нам не удалось разыскать...

Мы забежали вперед, но трудно, говоря об отъезде княгини Марии Николаевны, трудно не остановиться на образе этого младенца, вокруг которого сосредоточилось столько любви и страдания и над головою которого почиет благословение великого поэта.

VII.

Пушкин был свой человек в семье Раевских. Старик Николай Николаевич приблизил его к себе, ввел в дом, окружил его теплотою семейственности в суровые годы изгнания, когда поэт должен был скитаниями по Бессарабии

искупать шаловливость юной музы. И Пушкин высоко ценил его: „Свидетель Екатерининского века, памятник двенадцатого года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества“.

Не одним стариком был очарован Пушкин. Он, можно сказать, был влюблен во всю семью. В его стихах рассыпаны свидетельства о его привязанности: „Демон“ посвящен Александру Раевскому, „Кавказский пленник“ — Николаю, „Нереида“ старшей из сестер, Екатерине Николаевне. Но больше всех прошла через его душу и оставила след в его творчестве младшая из сестер Мария Николаевна. Существует мнение, высказанное в нашей критической литературе, по которому Мария Николаевна была слишком молода, чтобы мог в нее влюбиться наш поэт. По неопровержимым данным нашего архива, она родилась в 1805 году; ей было, следовательно, шестнадцать лет, когда Пушкин знал ее девушкой. Что она сама в „Записках“ говорит о себе, как о девочке, весьма естественно при скромности, с какою она всегда о себе говорила. Она могла, конечно, умалять в памяти своей значение произведенного на Пушкина впечатления, но она не могла умалить ту силу, с которой запечатлевался ее образ.

Стройная, тонкая, смуглая, с удивительными, как выразился декабрист барон Розен, „говорящими“ глазами, с чудным голосом, она пленила поэта, и он, вспоминая эти глаза в „Бахчисарайском фонтане“, писал:

..... ее очи
Яснее дня,
Темнее ночи..

Эти строки в „Записках“ Мария Николаевна признает обращенными к ней, к ее глазам. Не знаем, какие были у нее данные для такого утверждения, но опять скажу, — скромность ее лучшее ручательство, что это так и было, и что образ ее жил в поэтическом воображении Пушкина.

Прелестные строки о ножках в первой главе „Евгения Онегина“ вызваны следующим случаем. Николай Николаевич

пригласил Пушкина сопутствовать им в путешествии по Крыму и Кавказу. „Недалеко от Таганрога, пишет Мария Николаевна в своих—„Записках“, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилаеь к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами; не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги, я это, конечно, скрыла и вернулась в карету“. Но детская шалость, которую она скрыла от гувернантки, была выдана поэтом:

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

А в другом месте:

Ах ножки, ножки, где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?

Да, где? В Сибири, почти тридцать лет в Сибири они мяли вешние цветы...

Ей же, Марии Николаевне, хотя и негласно посвящена „Полтава“. Найден Пушкинский черновик, в котором вместо „Твоя печальная пустыня“ стоит „Твоя сибирская пустыня“:

Тебе—но голос музы томной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без привета
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе,
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,

Твоя сибирская пустыня,
Последний звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

В некоторых изданиях посвящение „Полтавы“ сопровождается примечанием: „К кому относится это посвящение,— неизвестно“. Благодаря исследованиям П. О. Морозова, отыскавшего упомянутый вариант, ныне известно, что оно относится к княгине Марии Николаевне Волконской. Надо думать, что она сама об этом не знала, иначе в своих записках она бы об этом упомянула. Не лишено интереса и некоторое внутреннее сходство: героиню „Полтавы“ зовут Марией, она выходит за человека много старше ее, он политический преступник, она жертва, гибнущая из-за него.

Еще один раз образ Марии Николаевны проходит под пером Пушкина. Есть недоконченное стихотворение „Графу О.“. Это был некий граф Олизар, поляк, который был влюблен в Марию Николаевну и делал ей предложение; но, говорит Пушкин, в стихотворении, дышащем русско-польской враждой:

Но наша дева молодая,
Привлекши сердце...
Отвергла...
Любовь... нашего врага...

Это было в 1824 г. Через тридцать три года, когда, после возвращения из Сибири, Мария Николаевна поехала заграницу, она встретилась с Олизаром. У нас осталось два письма, полученных княгинею от ее прежнего воздыхателя: обезвреженная старостью, в них дышит искренность восторженного преклонения.

Была в нашей семье и вещественная память о Пушкине. Однажды у Раевских разыгрывалась лотерея,—Пушкин положил свое кольцо, моя бабушка его выиграла. Это кольцо я подарил „Пушкинскому Дому“ при Академии Наук. Кстати, здесь о пушкинских кольцах. Их было три. Один — знаменитый „талисман“, который по Тропинскому портрету, он

носил на большом пальце. Это кольцо вдова Пушкина у смертного одра его надела на палец Жуковскому, принявшему последний вздох поэта. Жуковский завещал его Тургеневу. Тургенев — Льву Толстому. Но Тургенев, как известно, умер под Парижем на даче знаменитой певицы г-жи Виардо. Где оно, неизвестно, но только от г-жи Виардо до Ясной Поляны кольцо никогда не дошло. Второе кольцо я видел на руке великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. и президента Академии Наук. Оно ему досталось по завещанию от одной дамы, но от кого,—не помню. Великий князь завещал его Академии Наук. Третье кольцо — мое. Осенью 1917 года я читал в газете, что „во время июльских беспорядков в Петрограде разгромлен музей Академии Наук. Между прочим пропало кольцо Пушкина". Которое из двух?..

Через Раевских Пушкин был близок к декабристам. Мы видели, что он писал „Кавказского пленника" в Каменке; он в Каменке живал подолгу, но близость его не дошла до вступления в ряды Тайного Общества.

Здесь уместно упомянуть подробность, которая, кажется, в литературу не проникла, но сохранилась в нашем семействе, как драгоценное предание. Деду моему Сергею Григорьевичу было поручено завербовать Пушкина в члены Тайного Общества, но он, угадав великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения. Между тем декабрьская буря прошла близко мимо Пушкина, и даже непонятно, как могла она совсем его не задеть, когда и за „шалостями" его так зорко следило правительство. Он и сам ощущал сообщность с потерпевшими друзьями и, судя по прелестному стихотворению „Арион", сам недоумевал, как это случилось, что он спасся:

Нас было много на челне:
Иные парус напрягали,
Другие дружно напирали
В глубь мощны весла. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;

А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец.
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою;
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Известно, что в бумагах Пушкина найден рисунок с пятью виселицами пяти декабристов и рукою поэта приписано:—„И я мог бы также“...

Среди декабристов был такой человек, как Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина. Что может быть трогательнее тех нескольких строк, которые Пушкин послал ему в Сибирь:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю Святое Провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней.

Эти строки повезла в Сибирь Александра Григорьевна Муравьева и передала Пущииу в день его приезда в Читу сквозь щель острожного частокола. В прелестных своих записках Пущин говорит об этом с той удивительной теплотой, которой согрето его перо, каждый раз как пишет о Пушкине. Иван Иванович Пущин был близким другом Волконских и крестным отцом моего отца, родившегося в Сибири.

Свое знаменитое „Послание Декабристам“ Пушкин имел намерение вручить Марии Николаевне перед ее отъездом для передачи им в Сибири. Но он пришел днем, — княгиня выехала в четыре часа утра. Свое послание он передал той же Александре Григорьевне Муравьевой. Хотя Муравьева вы-

ехала после Волконской, однако, они съехались, так как Мария Николаевна задержалась в Москве и нагнала Александру Григорьевну в Иркутске; они вместе передали послание Пушкина. Привожу это хорошо известное стихотворение и менее известный ответ декабриста князя Одоевского.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра, —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы, —
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

Ответ декабриста Князя Одоевского:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли.
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь спокоен Бард, — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
Обет святой пробудет с нами.
Наш скорбный труд не пропадет;
Из искры разгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.

В отношениях, сближавших Пушкина с декабристами, есть некоторая недоговоренность, своего рода драматическое молчание с обеих сторон. Пущин остановился на краю признания. С другой стороны Якушкин рассказывает, как

однажды в Каменке, в присутствии Пушкина говорили откровенно, настолько, что сочли нужным тут же замазать и превратить в шутку, а Пушкин воскликнул: „Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, а это была только злая шутка“. Слова его остались без отклика. Может быть, боялись пылкости, неуравновешенности поэта. Драматическое молчание этой недоговоренности, длившейся столько лет, освещается горькими словами поэта при прощании с Александрой Григорьевой Муравьевой: „Я очень понимаю, почему они не хотели принять меня в свое общество, я не стоил этой чести“. Как согласовать эту недоговоренность и опасливое отношение декабристов к Пушкину с преданием о возложенном на моего деда поручении, не берусь судить, но счел долгом упомянуть о нем.

Пушкину суждено было еще раз увидеть Марию Николаевну; он поехал в Москву, где княгиня была вынуждена остаться несколько долее, чем рассчитывала. Она остановилась у своей невестки, жены Никиты Григорьевича, обворожительной Зинаиды Волконской. О ней не можем не сказать здесь несколько слов. Слишком ярок ее образ, слишком видное место занимает она в тогдашней жизни, и слишком светел теплый луч, которым она озарила образ княгини Марии Николаевны, перед тем как он скрылся в сибирскую ночь. Красавица, женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований, друг Пушкина, Мицкевича, Гоголя, Веневитинова, она оставила след в истории нашего художественно-литературного развития. О ней много писано и, однако, не довольно. Еще не перешла в потомство вся прелесть этого характера, столь же живого, разностороннего, сколько пламенного.

Утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и мало осознанным еще национализмом, она была типичный плод западной цивилизации, приносящий себя на служение родного искусства, родной литературы. Под влиянием Карамзинского отношения к отечественной истории, того дидактизма, которым проникнуто его изложение, под влиянием „Венециановского“ по-

нимания русского народа, вослед романтическому увлечению рыцарством, которое позднее нашло себе выражение в Николаевской готике, — пошла в культурных кругах наших полоса какого-то странного славяно-готического патриотизма. Люди, очень мало имевшие корней в своей стране, получившие умственное пробуждение с запада, душою все же тяготели к родине и желали видеть ее культурно равною другим странам. Этим желанием, гораздо более, нежели побуждениями внутреннего свойства, объясняются те сюжеты из древне-славянской истории, в которых вращалось тогдашнее творчество патриотических празднеств, игр, кантат, триумфов и живых картин. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению в своих писаниях и своих музыкальных произведениях. Но в ней все это было согрето пламенем искренней любви к искусству, к родине и, что ценнее всего, — к людям. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в обстановку, нравственную, физическую и общественную, нужную для его работы, для его вдохновения. Так, она приняла и обласкала поэта Веневитинова, так она согрела тяжелые дни Гоголя в Риме, так она спасла от болезни, привезя его с собой в Рим, Шевырева.

Княгиня Зинаида Александровна играла видную роль в свете. Ее гостиная в Москве (она жила в доме отца своего, князя Белосельского - Белозерского, на Тверской, где впоследствии был магазин Елисеева) была местом встречи всего, что было выдающегося в области литературы и науки. Ей, между прочим, принадлежит мысль создания в Москве музея европейской скульптуры, — мысль, осуществленная только в 1912 г. основанием Музея императора Александра III; но потомство не забывало ее, и в брошюре профессора И. В. Цветаева об истории Музея имя княгини Зинаиды Волконской поставлено, можно сказать, во главу угла нового здания.

Значительную часть своей жизни Зинаида Александровна провела в Риме, где приобрела свою известную впоследствии „Виллу Волконскую“, расположенную на земле, по преданию принадлежавшей императрице Елене, матери Равноапостольного Константина. Место, ею приобретенное.

в то время находилось на самом краю Вечного Города, и только великолепный фасад базилики св. Иоанна Латеранского осенял виллу с этой стороны, в то время как по далеко расстилавшейся Кампаньи из голубого лона Албанских и Сабинских гор тянулись к ней и входили в самый сад старые своды римских акведуков... „Вилла Волконская“ долго была местом встречи стекавшихся в Рим русских и иностранных художников и литераторов.

Последние годы жизни Зинаиды Александровны были отданы вопросам религиозным и делам благотворительности. Она приняла католичество много лет перед тем. Римская беднота ее боготворила, католической церквью она причислена к лику „блаженных“.

Современники высоко чтили ее. Пушкин, посылая ей „Цыган“, писал:

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани;
Внемли с улыбкой голос мой.
Так мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

В нашей семье сохранялся портрет Зинаиды Александровны работы Бруни в костюме рыцаря Танкреда, роль которого она пела в одноименной опере Россини на торжествах Веронского конгресса.

У нее остановилась Мария Николаевна, чтобы в последний раз отдохнуть перед отъездом в Сибирь. Зинаида устроила для нее званый вечер, на котором собрались лучшие в то время бывшие в Москве певцы. На этом вечере был и Пушкин. В бумагах поэта Веневитинова нашли на

мелкие клочки разорванную рукопись; когда ее сложили, то оказалось, что это было описание музыкального вечера у Зинаиды Волконской. Трогателен образ Марии Николаевны, сидящей в дверях соседней комнаты из боязни выдать людям глубину своего волнения; но трогательно и отношение автора к ней, — бережное, как к чему-то драгоценному, хрупкому.

Этот вечер был последним видением счастливого, светлого прошлого; после него начиналось длинное, мрачное завтра. Она слушала музыку и все говорила: „Еще, еще! Подумайте, я никогда больше ничего не услышу"...

В печатном томе французских сочинений княгини Зинаиды Волконской, изданном в Париже в 1865 г., есть следующий отрывок:

„Княгине Марии Волконской, рожденной Раевской". „О ты, вошедшая отдохнуть в моем дому! Ты, которую я знала всего три дня и которую назвала моим другом. Отражение твоего образа осталось в моей душе. Мой взор еще видит тебя: твой высокий стан встает предо мной, как высокая мысль, и твои красивые движения как будто сливаются в ту мелодию, которую древние приписывали звездам небесным. У тебя глаза, волосы, цвет лица, как у девы Ганга, и подобно ей жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою. Ты молода... а между тем в твоей жизни прошлое уже оторвалось от настоящего; твой ясный день прошел и не тихий вечер принес тебе, а темную ночь. Она пришла, как зима нашего севера, и земля еще горячая, покрылась снегом... „Прежде, говорила ты мне, мой голос был звучен, но пропал от страданий"... А между тем я слышала твое пение, и оно еще звучит, оно никогда не смолкнет; ведь твои речи, твоя молодость, твой взор, все это звучит звуками, звучащими в будущем. О, как ты нас, слушала, когда мы, сливаясь в хоры, пели вокруг тебя... „Еще, еще, все повторяла ты, — еще... ведь я никогда не услышу более музыки"... Но теперь ты просишь, чтобы я отдала тебе твою лиру: прижми же ее к твоему разбитому сердцу, ударь по ее струнам, и да будет для тебя каждый звук, каждый аккорд ее так же дорог, как голос друга. Окружи

себя гармонией, дыши ею, пой, пой всегда... Разве жизнь твоя не гимн?"...

Так говорила одна с другой. Для того, кто умеет читать, этот отрывок полон прелести помимо своего содержания, помимо двух прелестных женских образов—той, о ком пишут, и той, кто пишет. Отрывок этот есть в малом виде вся тогдашняя культура, корнями сидящая в классицизме и цветущая цветами романтизма. Разве не классицизм — первые строки этого обращения? — „О ты, вошедшая отдохнуть в моем дому". Разве это не Гомер, не дышит Навзикаей? А конец, — разве не до последней степени напряженная струна романтического лиризма? Какой длинный путь человечества в их немногих строках...

В самые праздники уехала Мария Николаевна, держа путь на Нерчинск. Перед отъездом еще записочка от отца, из деревни. „Снег идет, путь тебе добрый, благополучный, — молю Бога за тебя, жертву невинную, да утешит твою душу, да укрепит твое сердце"... Она проезжала Казань под самый новый год; мимо ярко освещенных окон Дворянского Собрания, куда входили ряженные в масках, проезжала она в то время, когда сестра Екатерина Николаевна, писала ей и помечала письмо, первое адресованное в Иркутск, — „31-го декабря печального 1826 года".

Кибитка уносила княгиню Марию Николаевну в неразгаданную тьму. Чуя приближение полночи, она заставила свои карманные часы прозвонить в темноте а после двенадцатого удара поздравила ямщика с Новым годом.

VIII.

Мы с трудом можем себе представить, что была Сибирь того времени. Не только Сибирь недавнего прошлого, с железной дорогой, с флотом на дальневосточных водах, с университетом и т. д., но даже Сибирь пятидесятых годов, Сибирь Муравьева-Амурского, с присоединенным Амуром и с выходом на Тихий океан,—представляется каким-то иным миром по сравнению с Сибирью двадцатых годов. Как вы-

разился впоследствии канцлер граф Нессельроде, — „дно мешка“; это был конец света, выход оттуда был один,—по той же дороге назад.

Куда, собственно, ехала княгиня, на что себя обрекала, этого не знал никто, меньше всех она сама. И тем не менее она ехала с каким-то восторгом. Алина Волконская писала матери из Москвы: „Я видела Каташу (это княгиня Екатерива Ивановна Трубецкая, жена декабриста),—она уезжает, как на праздник“. И это было действительное настроение их. Окружающие мало понимали это настроение; для них ссыльные были отрезанным ломтем, а жизнь была тут, в Петербурге и Москве; для этих женщин—наоборот, они были отрезанным ломтем, а жизнь была там, в Сибири. И они ехали, как на праздник. Не „Волконские бабы“ создавали подобное настроение, оно исходило не изнаружи, а изнутри. Да, только потому было оно так сильно, только потому могло оно восторжествовать над всеми препятствиями, и над противодействием семьи, и над затруднениями со стороны властей и, наконец, над страшными условиями жизни.

Чтобы дать понятие об этих условиях, вот несколько подробностей экономического характера. Не было в той местности, где жила Мария Николаевна, ниток; шить приходилось рыбьими кишками или китайским шелком, когда он попадался. Не было нигде, даже в Иркутске, часовщика, выписанные из Петербурга часы пришли разбитые вдребезги. Не было зубного врача,—Мария Николаевна была вынуждена сама прижечь себе зуб раскаленным гвоздем. Аптек не было, пиявки выписывались из Красноярска за 2.000 верст, медикаменты из Петербурга или выписывались в предвидении будущего, или приходили по миновании надобности. Всего этого Мария Николаевна еще не знала, да и не думала об этом, занятая мыслью о нравственной помощи, которую она несет с собой. Нет, не думала и не знала, куда она едет. Это она узнала только, когда приехала. Когда, после восьминедельного путешествия, по приезде в деревушку, расположенную вокруг Благодатского рудника, она вышла из кибитки, когда с неумолкнувшим еще в ушах шумом полозьев, она вошла в избу и огляделась в нанятой ею каморке,

такой маленькой, что могла головой упереться в одну стену, а ногами в другую, тогда за восемь тысяч верст от родного дома, она увидела, куда она приехала и на что себя обрекла. И окружавшая пустыня понемногу овладевала ее душой. Для мужа она приехала, но что могла она для него?... От нее была отобрана подписка, что она будет с ним видаться два раза в неделю, в остроге, в присутствии офицера, не говорить с ним на ином языке, кроме русского, „паче же не говорить ничего не принадлежащего“. А в течение прочего времени, что могла она? Она могла в пять часов утра по звону кандалов знать, что они идут на работу, в одиннадцать часов утра знать, что они возвращаются и, гуляя по обезлесенным холмам, могла думать, что муж из острога, может быть, ее видит, знает, значит, что она здорова. Вот все, к чему привела ее принесенная жертва.

Из Нерчинска, в последнем письме к мужу, перед свиданием она писала: „Наконец в обетованной земле“. Перед въездом в эту обетованную землю, жены декабристов натыкались на казенный шлагбаум; и шлагбаум неохотно поднимался, он поднимался, наконец, только перед непреклонностью их героической воли... Николай I, в Петербурге разрешивший их отъезд, в Иркутске предписаниями губернатору ставил препятствия их въезду. Ему не нравился этот восторженный порыв; он предвидел, что присутствие жен облегчит участь государственных преступников; он предвидел и то, что жены будут поддерживать сношения со своими родственниками в России, что таким образом о декабристах будут знать и помнить, а он хотел, чтобы о них забыли. Но вместе с тем, запретить женам ехать к мужьям он не решался. Это противоречило бы тому, что почитатели Николая I (а у него было много искренних почитателей) называли рыцарством его. Он не мог примириться с тем впечатлением, которое произвело бы в Европе, что Николай I воспротивился романтическому порыву этих молодых женщин. И вот, в каждом отдельном случае он разрешал выезд, но обставлял въезд такими условиями, которые были рассчитаны на то, что они откажутся от дальнейшего следования. В своем письме к Марии Николаевне государь приглашал ее подумать о тех

ограничениях, которые ее ожидают за Иркутском. Эти ограничения можно свести к двум словам: отказ от всякого покровительства закона и властей. И этот отказ подписали все наши добровольные изгнанницы, — все восемь.

Если, говоря о выезде княгини Волконской, нельзя не вспомнить Пушкина, то, говоря об ее приезде в места ссылки, нельзя не помянуть Некрасова. Слишком хорошо известна его поэма „Русские Женщины“, но, может быть, не всем известна история ее возникновения. Выписываю ее из предисловия моего отца к „Запискам“ его матери.

„С Некрасовым я был знаком долгие годы. Нас сблизила любовь моя к поэзии и частые зимние охоты, во время которых мы много беседовали, причем я, однакоже, обходил разговоры о сосланных в Сибирь, не желая, чтобы они проскользнули несвоевременно в печать. Однажды, встретив меня в театре, Некрасов сказал мне, что написал поэму „Княгиня Е. И. Трубецкая“, и просил меня ее прочесть и сделать свои замечания. Я ему ответил, что нахожусь в самых тесных дружеских отношениях с семьею Трубецких, и что, если впоследствии найдутся в поэме места, для семьи неприятные, то, зная, что поэма была предварительно сообщена мне, Трубецкие могут меня, весьма основательно, подвергнуть укору; поэтому я готов сообщить свои замечания в том лишь случае, если автор их примет. Получив на это утвердительный ответ Николая Алексеевича, а на другой день и самую поэму в корректурном еще виде, я тотчас ее прочел и свез автору с своими заметками, касавшимися преимущественно характеров описываемых лиц. В некоторых местах, для красоты мысли и стиха, он изменил характер этой высокодобродетельной и кроткой сердцем женщины, — на что я и обратил его внимание. Многие замечания он принял, но от некоторых отказался и, между прочим, отказался выпустить четырехстишие, в котором княгиня бросает кусок грязи в только что покинутое ею высшее петербургское общество, к которому она в действительности стремилась душой из далекой ссылки до конца своих дней....

„Поэма имела громадный успех, и Некрасов задумал другую. Раз он, приехав ко мне, сказал, что пишет о

моей матери и просил меня дать ему ее „Записки", о существовании которых ему было известно; от этого я отказался наотрез, так как не сообщал до тех пор этих „Записок" никому, даже людям, мне наиболее близким. „Ну так прочтите мне их", сказал он мне. Я отказался и от этого. Тогда он стал меня убеждать, говоря, что данных о княгине Волконской у него гораздо меньше, чем было о княгине Трубецкой, что образ ее выйдет искаженным, неверными явятся и факты и что мне первому это будет неприятно и тяжело, а опровержение будет для меня затруднительно. При этом он давал мне слово принять все мои замечания и не выпускать поэмы без моего согласия на все ее подробности. Я просил дать мне несколько дней на размышление, еще раз прочел записки моей матери и, в конце концов, согласился, несмотря на то, что мне была крайне неприятна мысль о появлении поэмы весьма интимного характера, основанной на рассказе, который в то время я не предполагал предавать печати.

„Некрасов по-французски не знал, по крайней мере настолько, чтобы понимать текст при чтении, и я должен был читать, переводя по-русски, при чем он делал заметки карандашом в принесенной им тетради. В три вечера чтение было закончено. Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал со словами: „Довольно, не могу", бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок. Тут я видел, насколько наш поэт жил нервами и какое место они должны были занимать в его творчестве.

„Когда поэма была кончена, он принял мои замечания и просил лишь ему оставить сцену встречи княгини Волконской с мужем не в тюрьме, как изложено в „Записках", а в шахте. „Не все ли вам равно, с кем встретилась там княгиня: с мужем ли или с дядей Давыдовым, они оба работали под землей, а эта встреча у меня так красиво выходит". Я уступил, но, уезжая из Петербурга, просил выслать мне для просмотра еще последнюю корректуру. Поэт этого не исполнил, и я получил от него при письме, полном извинений, поэму, уже выпущенную („Отечественные записки"

генварь 1873). Этим объясняется, что в поэме проскользнуло несколько выражений, не отвечающих характеру воспетой им женщины“.

Такова история возникновения одного из популярнейших произведений нашей литературы. Должен сказать, что при всех своих достоинствах поэма Некрасова представляется мне, после того как я познакомился с собственноручными письмами княгини Марии Николаевны, очень грубой; в ней есть что-то кустарное. Скажем прямо, — в ней сквозит сам Некрасов; в ней больше Некрасова, нежели той, кого он воспевает. Всякий автор проявляет себя, не может не проявлять; о чем бы он ни писал, — в том, как он пишет, под каким углом видит, какую оценку дает, наконец, — и, может быть, самое главное, — какие речи вкладывает в уста другого, — во всем этом всегда сквозит автор. И здесь неизбежно действует влияние двух, иногда далеко не равноценных величин: описываемого героя и описывающего автора. Не всякий выдерживает сопоставление. И в то время, как, может быть, самое дорогое для нас в „Евгении Онегине“ есть непрестанно ощутимое присутствие Пушкина, — в „Русских Женщинах“ нас расстраивает соприкосновение с Некрасовым. Это, конечно, не потому, что Пушкин писал об обыденных людях, а Некрасов пишет об исключительной женщине в исключительных обстоятельствах: о ком бы Пушкин ни писал, он всегда будет выше своего предмета; не о всяком поэте это можно сказать.

Нельзя, однако, не признать за произведением Некрасова, кроме литературных его достоинств, еще и культурно-воспитательного значения. То, что было достоянием узкого кружка двух поколений, потомков декабристов, что после издания „Записок“ княгини Волконской стало бы достоянием небольшого круга любителей исторической литературы, то, благодаря Некрасову, стало достоянием всякого читающего.

Постараемся же теперь, — не по Некрасову, а из собственных ее писем (увы, на память!) восстановить ее духовный образ.

IX.

В этой унылой обстановке, которую мы мельком очертили, только почта могла доставить минуты просветления. Но как мало она приносила и как редко... Только в пятидесятых годах, при Муравьеве зазвенел почтовый колокольчик непрерывной нитью от Балтийского моря до Тихого океана, а в те времена почта из Петербурга уходила раз в неделю, а из Иркутска в Забайкалье иногда только раз в месяц. И каким только случайностям не подвергалась она! Разливы рек, метели, неточности адресов, путаницы в раздаче... Письма из Киевской губернии шли почти три месяца; по полгода нужно было ждать ответа на свое письмо. Какая могла быть при этом поддержка отношений, какая была возможна деловая переписка?... Мария Николаевна была обречена на постоянную жизнь в прошлом. Девять писем писано к уже умершей свекрови; в течение трех месяцев получает княгиня от сестер поцелуи уже умершему своему ребенку, родившемуся в Чите младенцу Софье.... Доктор прописал Сергею Григорьевичу, сильно ослабевшему в каторжных работах, вина, по рюмке в день. Начальство разрешило. Мария Николаевна пишет свекрови, старуха высылает,—бутылки приходят разбитые. Целый год проходит в ожидании второй высылки. В январе 1831 г. она просит свекровь выслать судков для пересылки пищи мужу, а то по пути из ее жилища в острог пища стынет, а разогревать в остроге, — посуда лопается. Не знаю, когда прибыли судки, но в январе 1832 года княгиня их еще не получила.

Вся переписка проходила в Петербурге цензуру III Отделения, в Сибири — цензуру губернатора, затем коменданта; в канцеляриях письма пропадали, это легко проследить при тогдашней привычке нумеровать письма; посылки развязывались, содержимое вываливалось, попадало под другой адрес или совсем в другое место назначения.

Ответная корреспонденция из Сибири подвергалась тем же случайностям и еще большим стеснениям. Самое стеснительное было требование, в силу которого ответные письма

должны были представляться в канцелярию коменданта вечером того же дня, когда почта была получена. Стеснительность этого требования станет понятна, когда вспомним, что самим государственным преступникам было запрещено писать, и потому Марии Николаевне приходилось писать и за себя, и за мужа, и за других. Декабрист барон Розен в своих „Записках" говорит, что княгини Трубецкая и Волконская иногда писали по двадцати писем в один почтовый день. Прибавить к этому, что в нашем архиве сохранились альбомы исходящих писем, в которых рукою Марии Николаевны изложено содержание каждого написанного ею письма, — и понятным станет, что почтовые дни были для нее мученьем; зато декабристы звали ее „наше окно в свет",

Велик был труд ее, но мало вознаграждался. Из семьи мужа почти никто не писал. Только старуха Александра Николаевна каждую пятницу писала свои мало содержательные. но с точностью часового механизма отсылаемые письма. Переписка с свекровью становится руслом, по которому мы можем проследить течение материальной, практической жизни. Все заботы о муже, о его здоровье восходят к Александре Николаевне, и удивляться приходится готовности и заботливости, с какою старуха исполняет поручения; сама ездит, сама выбирает, сама укладывает. Много лет позднее, в одном письме к сестре Софье, Мария Николаевна вспоминает ее всегдашнюю отзывчивость и готовность помочь. С такою же аккуратностью писала и Жозефина. Но, за исключением этого, известий со стороны Волконских почти не было. В особенности огорчало Сергея Григорьевича молчание сестры. После его ухода в ссылку она совсем исчезла с его горизонта, чтобы снова всплыть уже в 1854 году, когда она навестила брата в Иркутске и целый год прогостила у него. Об этом — в своем месте. Среди редких писем других членов семьи Волконских горели лаской и приветом письма очаровательной Зинаиды. Никогда не забывала она той, которая пришла отдохнуть в ее дому, и, хорошо зная, кого она любит, что она любит и что ей нужно, присылает ей то непромокаемые чулки для Сергея, то нот итальянской музыки, то огородных семян.

Переписка с семьею Раевских была оживленнее, но мало содержательна, а главное мало утешительна; мало было в ней ласки, очень мало понимания. Какова была мать Марии Николаевны, мы видели, и что могли быть ее письма при таком характере, мы можем себе представить. Два эпизода вспомнились мне. Мария Николаевна, узнав, что ее племянница Репнина выходит замуж за графа Кушелева-Безбородко, просит мать подарить ей оставленный ею дома браслет. Мать отвечает, что желание ее будет исполнено, тем более, что из своей семьи никто, конечно, не захочет носить вещь, подаренную ей ее мужем. После смерти своего первенца Николиньки, Мария Николаевна в одном письме к сестрам сетовала на то, что ее мать как будто мало разделяет ее горе. Софья Николаевна ей пишет: „А разве вы не заметили, что я никогда не говорю вам о детях вашей сестры,— это для того, чтобы вас не огорчать“. Мы говорили уже о сестре Софье Николаевне, о ее постоянном дидактизме. С годами он возрастал. Она писала сестре фразы вроде следующих: „Я рада видеть, что здоровье ваше поправляется настолько, что вы свободно переносите суровость Сибирской зимы“. Мария Николаевна просит подробностей о житье бытье, что делают, кого видают и т. д.,— Софья Николаевна не остается в долгу и посылает ей расписание дня по часам. И здесь сколько забывчивости, нерадения! Три года она просит прислать ей ее любимую тетрадку нот, — сочинения Мейера... Я забыл сказать что у Марии Николаевны было фортепиано. Когда она приехала в Иркутск, она к изумлению своему увидела, что сзади кибитки подвязано фортепиано. Это был подарок Зинаиды. Конечно, то были маленькие клавикорды на четырех ножках, на которых можно было скорее тренькать, нежели играть, но какую радость, сколько горькой услады принесло оно ей в одинокие часы сибирских сумерек...

Совсем отдельно от всего стоят письма отца, старика Николая Николаевича Раевского. Он писал мало. Княгиня приехала в Благодатский рудник в начале марта, а первое письмо от отца получила в половине июня. Он писал мало но его письма, столь удивительные по почерку и по складу

речи, — как литые бронзовые доски. И как она их ждала! Что был отец для нее, видно из таких подробностей: она просит сестер, чтобы на их письмах хотя адрес был написан рукою отца; она просит прислать ей для Сергея табаку того, что курит отец, и просит с этим вместе мундштук, такой, какой она видала во рту отца... Да, он мало писал, но видно что всегда перед ним носился образ той, которая, как тучка, ночевала на груди утеса-великана, умчалась рано, и остался влажный след,

И тихонько плачет он в пустыне...

На смертном одре он указал на ее портрет и сказал: „Вот самая замечательная женщина, которую я знал". Со взором, устремленным на Сибирь, угасал суровый воин. На его могиле, в деревни Болтышка Киевской губернии, вырезан стих Жуковского:

Он был в Смоленске щит, в Париже меч России.

Над могилой висит изображение Сикстинской мадонны Рафаэля, которое княгиня Мария Николаевна вышивала бисером в Чите.

Таковы были письма, которые княгиня получала из России.

И вот, когда сопоставить все это, скупость того, что она получала, скудость того, что ее окружало, — изумляться приходится богатству внутреннего содержания, на котором она строила свою скромную убогую жизнь: преклоняться приходится перед той стойкостью, тем мужеством и постоянством, с какими она противупоставляла свою личность окружающим условиям жизни. В этой стране, где по нескольку месяцев подряд морозы в 40°, она занимается садоводством; в этой обстановке, где, казалось бы, всякие духовные интересы должны отступить перед непрестанной борьбой за материальное существование, она занимается музыкой, и ноты, которые ей присылает Зинаида из Италии, она переписывает и пересылает своей сестре Софье в Малороссию. Она собирает гербарий сибирской флоры для какого-то доктора Даулера в Петербурге, составляет минералогический кабинет для Николиньки, когда он вырастет. В этой обста-

новке, где, казалось, всякое сознание своей личности должно поникнуть перед постоянным гнетом бесправия, она всегда выше обстоятельств, всегда приодета, аккуратна, всегда в перчатках и вуалетке. Там, в этой нескончаемо-одинаковой, длительно-безнадежной смене дней она с каким-то религиозным этикетом соблюдает семейные годовщины рождений, именин. Она вспоминает в июне 1827 г. что в первый раз после замужества она проводит 5-е число, день именин Сергея, в его обществе: в 1825 году он был в отъезде по службе, в 1826 году он сидел в крепости, а в этот год 5-е число как раз случилось в день свидания с заключенными. И как трогательно, например, читать ее благодарность мужу по поводу того, что он просил ее в день его именин не снимать траура по ее отцу. Это может показаться мелочами в наши дни, но я думаю, что большая сила воспитания и великая сила воли сказывается в этих подробностях. Это больше, нежели приспособляемость к обстоятельствам, — это нежелание подчиниться им, это есть отказ в капитуляции, это свет, которого тьма не может объять. Эту сторону ее характера, эти условия ее положения домашние ее не понимали; они не понимали, сколько величия в этих мелочах, сколько потрясений за этой стойкостью. Они не сознавали и того, какое значение для нее могли иметь мелочи их домашнего деревенского бытья. Как она, за восемь тысяч верст, мучительно переживала жизнь далекого дома, видно из того, что однажды княгиня Трубецкая нашла нужным написать сестрам Марии Николаевны, чтобы они ей писали о болезнях ее домашних уже по выздоровлении их, — до такой степени известия влияют на ее здоровье. Изумляться приходится, как, при скудости своей жизни, она находила, чем наполнять шесть — восемь страниц большой почтовой бумаги. „Если я могу писать, неужели вам нечего рассказать?“ — писала она сестрам. Она даже находила возможность шутить; хотя за этим смехом всегда блестят слезы, все равно как, когда она садилась петь за клавикорды, слезы пресекали ее голос. А из дому она получала жалобы. „Но если вы несчастны, — отвечает она матери, то что же я“... Редко попадаются такие слова под ее пером. Опять изумляться

приходится крепости, с какой она не позволяет себе отвечать на незаслуженные нападки матери: она знает, мать сама ей пишет, что таков уже ее характер, — горе у нее всегда переходит в гнев, но при всем том высока духовная выдержка, которая на это отвечает просьбой благословить ее и Сергея.

Образ княгини Марии Николаевны еще вырастает, когда посмотреть ее отношение к другим. Ее потребность помогать не знала пределов, а готовность помочь поражает, когда знаешь скудость средств, которыми она жила. В книге Дмитриева-Мамонова „Декабристы в Западной Сибири", только три раза упоминается имя княгини Марии Николаевны, но каждый раз в связи с денежной помощью, которую кто-нибудь из сосланных получал от нее из Восточной Сибири. Но не только материальная помощь,—трогательны примеры ее проникновения в чужую духовную жизнь. Для какого то каторжного татарина, невинно осужденного за убийство, она выписывает коран по-татарски, для каторжного еврея из Белой Церкви выписывает еврейскую библию. А как трогательно, например, отношение ее к любимой девушке Маше, приехавшей из деревни Болтышки, разделить с нею тяготы изгнания. Эта Маша безутешно тосковала, не получая писем из дому от своего брата Василия. Сколько Мария Николаевна ни писала сестрам, Василий не откликался. Что же придумывает княгиня? Она сама пишет письма, будто от Василия, и в почтовые дни читает их Маше, будто бы сейчас полученные.

Дополним образ Марии Николаевны тем еще, как к ней относились другие. Когда декабрист Кюхельбекер, по отбытии срока наказания, уезжал из Кросноярска, он написал Марии Николаевне свое прощальное письмо, прося передать иркутским своим товарищам привет и извинение, что не может писать каждому в отдельности. Он говорит, между прочим, что со дня знакомства с ней для его жены началась новая жизнь. Далее он выражает уверенность, что никто из товарищей по ссылке не посетует за то, что он ее выбирает выразительницею своих чувств, ибо, прибавляет он, „все что есть достойного уважения и прекрасного в характере

каждого из них, все это в наибольшей и чистейшей степени, представлено Вами, их ангелом-хранителем и утешителем". Эти немногие слова вмещают в себе все, что рассыпано по многочисленным „Запискам", „Воспоминаниям" того времени и тех людей. Что так мыслили и чувствовали люди ее круга, это не удивительно; но чрезвычайно знаменательно отношение к ней и к другим женам декабристов местного населения, крестьян и уголовных каторжан. Никогда эти дамы не встретили ничего, кроме внимания и уважения. О том, какую память они оставили, я имел трогательные свидетельства в письмах старожилов, о которых упоминал. Знаменательно и то, что население называло декабристов общим именем „наши князья"; правда, что среди них были такие имена, как Трубецкие, Волконские, Одоевские, Барятинские, Оболенские, Шаховские... Опять скажу, что не удивительно уважительное отношение со стороны людей, испытавших влияние их доброго отношения к себе, культурного воздействия на их детей; но вот пример того, как к этим, с позволения сказать, „буржуйкам" относились каторжане.

В отобранной от княгини Волконской в Иркутске подписке значилось, между прочим, что местные власти отказываются оказывать женам государственных преступников какую либо защиту „от ежечастных могущих быть оскорблений от людей самого развратного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену государственного преступника, несущую равную с ним участь, себе подобною, оскорбления сии могут быть даже насильственные". В такую то среду приехала княгиня Волконская, среди них жила. И что же нашла? Заимствую из „Записок" следующий рассказ.

„Кроме нашей тюрьмы, была еще другая, в которой содержались бегавшие несколько раз и совершившие грабежи. Их кандалы были гораздо тяжелее и работы труднее. Между ними находился известный разбойник Орлов, своего рода герой. Он никогда не нападал на людей бедных, а только на купцов и в особенности на чиновников; он даже доставил себе удовольствие некоторых из них высечь. У этого Орлова был чудный голос, он составил хор из своих това-

рищей по тюрьме и, при заходе солнца, я слушала, как они пели с удивительной стройностью и выражением; одну песнь, полную глубокой грусти, они особенно часто повторяли: „Воля, воля дорогая“. Пение было их единственным развлечением; скученные в тесной темной тюрьме, они выходили из нее только на работы. Я им помогала, насколько позволяли мои средства и поощряла их пение, садясь у их грустного жилища. Однажды я вдруг узнаю, что Орлов бежал. Все поиски за ним остались тщетны. Гуляя как-то в направлении нашей тюрьмы, я увидела следовавшего за мной каторжника; это был когда-то бравый гусар; он мне сказал вполголоса: „Княгиня, Орлов меня посылает к вам, он скрывается на этих горах, на скалах под вашим домом, он уже давно там и просит вас прислат ему денег на шубу; ночи стали уже холодные“. Я очень испугалась этого сообшения, а между тем, как оставить несчастного без помощи. Я вернулась домой и взяла 10 рублей, я сказала бывшему гусару чтобы он за мной не следовал, но заметил бы то место, где я во время прогулки нагнусь, чтобы положить деньги под камень. Он все исполнил, как я ему сказала, и тотчас же нашел их. Прошло еще две недели, я была одна в своей комнате. Каташа еще не возвращалась со свидания с мужем, я пела за фортепиано, было довольно темно, вдруг кто-то вошел, очень высокого роста и стал на колени у порога. Я подошла, — это был Орлов, „в шубе“, с двумя ножами за поясом. Он мне сказал: „Я опять к вам, дайте мне что-нибудь, мне нечем больше жить. Бог вернет вам, ваше сиятельство“. Я дала ему пять рублей, прося его скорее уйти, Каташа по возвращении из тюрьмы очень встревожилась от этого появления, да и было от чего, как вы увидите. Я легла поздно, все думая об этом разбойнике, которого могли схватить, и тогда Бурнашев не преминул бы повторить свои обычные слова — „вы хотите поднять каторжников“. Среди ночи я услыхала выстрелы. Бужу Каташу и мы посылаем в тюрьму за известиями. Там все спокойно, но вся деревня поднялась на ноги, и мне говорят, что беглых схватили на горе и всех арестовали, кроме Орлова, который бежал, вылезши сквозь трубу, или вернее, сквозь дымовое

отверстие. Несчастный, вместо того, чтобы купить себе хлеба, устроил попойку с товарищами, празднуя их побег. На другой день — наказание плетьми с целью узнать, от кого получены деньги на покупку водки, — никто меня не назвал. Гусар предпочел обвинить себя в краже, чем выдать меня, как он мне сказал впоследствии.

Таков внутренний образ княгини Марии Николаевны, как он вырисовывается из ее писем и частью из отзывов других. Мы проследили ее по письмам первых одиннадцати лет пребывания в Сибири. В это время ссыльным не позволялось писать, и вся скорбная летопись этих одиннадцати лет начертана тонким изящным почерком княгини. Эти одиннадцать лет начались в Благодатском руднике, где она нанимала в крестьянской избе каморку за десять рублей ассигнациями в месяц (три с полтиной) с дровами и водой; комнату эту она делила с княгиней Трубецкой. Продолжались эти одиннадцать лет в Чите. Здесь она жила в доме диакона, в верхнем этаже; к ним присоединилась их подруга, жена декабриста Ентальцева; комната просторная; дом стоял высоко над рекой, из окна вид на Алтайские горы, внизу ловили рыбу. Здесь в Чите родился у Марии Николаевны и умер в тот же день младенец Софья. Из Читы через два года ссыльные переведены в Петровский завод. Там княгиня сперва разделяла с мужем его камеру в каземате, а потом поселилась в собственном домике. О материальном быте наших изгнанников за это время поговорим ниже; им было нелегко, и на переписке всего этого периода лежит печать нужды, борьбы и терпения.

У меня было несколько портретов Марии Николаевны в ту эпоху, — преимущественно акварели работы декабриста Николая Бестужева. В особенности один поражает своей мечтательной прелестью. Облокотившись на стол с красной скатертью, сидит она у раскрытого окна, в черном платье, подперев щеку рукой; широкие у плеч рукава, большой на плечах белый батистовый с прошивками воротник, волосы, как во времена Евгения Онегина, собраны на маковке, а над ушами спадают локонами. В окно виден высокий мачтовый тын, около тына полосатая будка и рядом с ней — с

ружьем, в кивере часовой; за тыном крыша острога, Читинского острога. За спиной княгини, на стене висит портрет отца ее в генеральском сюртуке, — тоже работы Бестужева, копия с Соколова (и этот портрет отца ее тоже был у меня)... Я не могу передать впечатления великой печали, которая дышит в этой маленькой картинке. Но всякий раз, как я смотрел на нее, мне слышались слова одного ее письма из Читы: „Во всей окружающей природе одно только мне родное, — трава на могиле моего ребенка".

X.

Материальное положение наших изгнанников было нелегко. Перед своей гражданской смертью, в Петропавловской крепости Сергей Григорьевич написал свое завещание, которым отказывал свое состояние сыну своему Николаю. Между прочим, это последняя его подпись: „генерал-майор князь Сергей Григорьевич Волконский". Княгиня, как вдова, сохраняла право на свое приданое и на седьмую часть с имения мужа. Из своего достояния ей разрешалось в ссылке пользоваться десятью тысячами в год; тогда считали ассигнациями, это составляло немного больше трех тысяч. Этой суммы в тогдашней Сибири, пожалуй, и было бы достаточно; но вдруг по приказанию свыше она была сведена к двум тысячам ассигнациями. Между тем у Волконских родилось двое детей, расходы возрастали. Мария Николаевна в 1838 г. обратилась с просьбой в III Отделение о том, чтобы ей было разрешено получать из собственных же денег несколько большую сумму ввиду расходов по воспитанию детей. Ей было отвечено, что, по докладе ее прошения Государю Императору, „Его Величеству благоугодно было отозваться, что в Сибири учителей нет, а потому воспитание детей требует не расходов, а лишь одного попечения родителей". Через год просьба была повторена и вторично отклонена. При таких обстоятельствах особенную ценность приобретает та репутация благотворительности и отзывчивости, которую стяжала княгиня Мария Николаевна в обеих Сибирях, Восточной и Западной.

Повторяю, материальное положение было тяжкое. Из собственных писем, но еще больше из воспоминаний других декабристов, мы видим, как им приходилось трудно. Барон Розен говорит о княгинях Волконской и Трубецкой: „Странным показалось бы, если бы я вздумал подробно описать, как они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом, когда страдания их были гораздо важнее и другого рода, когда они видели мужей своих за работою в подземелье под властью грубого и дерзкого начальства."

Трудность положения увеличивалась еще и тем, что небольшие средства, которыми располагала княгиня Мария Николаевна, поступали чрезвычайно неаккуратно, задержки происходили и в Петербурге при высылке, и на месте, в канцеляриях губернатора и коменданта. На руки отпускалось очень мало; к сожалению, не могу наизусть сказать, во сколько определялась сумма тою расчетной книгой, которая была выдана княгине с предписанием „предъявлять оную по первому требованию".

Существенную перемену в материальном быте Марии Николаевны внесло поселение ее в остроге. Уже давно страдала она от мысли, что не разделяет с мужем тяготы заключения. Если она воздерживалась от шагов в этом направлении, то потому, что опасалась после острога уже утратить возможность вернуться в Россию и таким образом потерять надежду на свидание с сыном. Но со смертью Николиньки это соображение отпадало. Отпадал и последний аргумент в руках ее семьи: родители и сестры теперь знали, что она уже не вернется. Все помыслы ее теперь сосредоточивались на том, чтобы получить разрешение поселиться с мужем. Она обратилась за помощью к отцу. Есть ответное письмо, из которого видно, что он хлопочет, но столь же ясно сквозит и то, что ему вовсе не так хочется, чтобы просьба дочери была уважена. Но Мария Николаевна работала и с другого конца, — она просила свекровь поддержать ее просьбу. Долго пришлось ей ждать. Тем временем в 1828 году сняли с государственных преступников кандалы. Но вот, наконец, письмо от старой княгини из Царского Села: она читала ее письмо государю и государь ответил, что просьба ее будет испол-

нена, как только камера Сергея это дозволит. Кто знает придворную жизнь, тот знает, как подобные шаги трудны, как они были в особенности трудны в те времена. Кто знает отношение Николая I к декабристам, тот знает, как должно было быть страшно подойти к нему с заступничеством за тех, кого он хотел забыть и о ком помнил до последнего дня своего. Дело казалось безнадежным. Царствующие особы очень любят оказывать милость на светлом безоблачном пути своего шествия по красному сукну предначертанных событий, но они очень не любят, когда на этом пути встает и останавливает их внимание и нарушает установленность настроений и отношений что-нибудь такое, что они желали предать забвению и что заявляет о своем существовании наперекор их желаниям. И однако, княгине Александре Николаевне удалось исхлопотать то, о чем так слезно молила Мария Николаевна. Осенью 1830 г. ссыльные были переведены в Петровский завод, в выстроенный для них огромный каземат. Сюда въехала и княгиня Мария Николаевна, чтобы разделить с мужем камеру № 54.

У меня была маленькая акварель, изображавшая эту камеру. Бревенчатые перегородки в одном углу обиты темно-синей материей, занавеской, привезенной из Петербурга; у одной стены диван, перед ним круглый стол; у другой стены клавикорды, конечно, те самые, которые Зинаида приказала подвязать к кибитке; за клавикордами княгиня Мария Николаевна с той же типичной прической; около клавикордов, прислонясь к стене, Сергей Григорьевич в арестантском халате. Над диваном портрет Николая Николаевича Раевского, над клавикордами на стене маленькие портреты, медальоны, миниатюры. Многие из этих портретов, несмотря на мелкий размер, легко можно узнать; они впоследствии вернулись из Сибири и висели у меня в „Музее Декабристов“ и в моей комнате, когда у меня был „музей“, когда у меня была комната... Это изображение камеры № 54 интересно тем, что сделано до пробития окна, что последовало лишь через год после вселения заключенных по совместному прошению жен начальнику III Отделения, графу Бенкендорфу. Я долго не знал, чьей работы эта акварель. Но в феврале 1917 года

будучи в Крыму, я посетил в Симферополе дочь декабриста Юшневского. Я предупредил о своем приходе; она ждала меня, окруженная портретами, альбомами, вещицами и портфелями со множеством рисунков ее отца. Я сейчас же узнал, кто автор рисунка, изображающего камеру № 54. Незабвенный вечер. Из этой ветоши—сколько живого благоухания. И где теперь вся эта ценность, что ей принадлежала? И где она сама? Там же в пятнадцати верстах от Симферополя, застал я доживающую в своем Потемкинском имении Елизавету Сергеевну Давыдову, дочь декабриста Трубецкого, вышедшую за сына декабриста Давыдова. Она была очень стара, с совершенно ослабевшей памятью, но тоже окружена портретами, рисунками. Навстречу этим изображениям поднимались из ее меркнувшего сознания имена людей, местностей. Так, накануне Мартовской революции, среди пробуждающейся картины Крымской весны, перед картинами сибирской ночи догорали последние проблески далекого прошлого...

Из эпохи Петровского завода у меня было очень много рисунков и акварелей. Были виды каземата, внутренних его дворов, сцены из жизни государственных преступников, их работы, их отдых, внутренние виды камер. Все это нарисовано чисто, аккуратно; николаевские солдатики изображены с иголочки, белые лосины, ремешки, ружья, кивера, лядунки, все это выписано в совершенстве. Повидимому, рисунки принадлежат кисти декабриста Репина, того, который так ужасно погиб в пожаре своего дома вместе с Андреевым, заехавшим к нему переночевать. Вид каземата с птичьяго полета, помещенный в записках „княгини Марии Николаевны Волконской“ подписан — „писарь Керенский“.

Когда заключенным стали разрешать отлучаться из тюрьмы, княгиня Волконская обзавелась собственным домиком. Обзавелись домами и другие жены. Эти дома все стояли вряд по одной улице. Улица называлась у них „La rue des Dames“ (дамская улица). По левой стороне, если идти к церкви, предпоследний дом — Волконских. Здесь родились у княгини Марии Николаевны — сын Михаил в 1832 году и в 1834 г. дочь Елена.

О тогдашнем начальстве в письмах, конечно, нет упоминаний. Но из „Записок“ и воспоминаний обрисовывается мрачная галлерея портретов; среди них самые мрачные — смотритель Нерчинских заводов Бурнашев, человек грубый, говоривший с заключенными на „ты“, и генерал-губернатор Руперт. Имя последнего связано со скорбным событием в жизни декабристов. В 1841 году правительство пожелало по случаю бракосочетания наследника, будущего Александра II, оказать какую-нибудь милость сосланным. Было решено принять детей декабристов на казенный счет, сыновей в корпуса, дочерей — в институты; но при этом было поставлено условием: дети должны лишиться фамилий своих отцов и именоваться по отчеству, Сергеевыми, Васильевыми и т. д. Сосланным было дано сорок восемь часов на размышление. Они отказались от царской милости, указывая на то, что подобное отречение от имени отцов, разрывая последнюю связь с прошлым, кроме того, поставило бы их детей в положение незаконнорожденных и наложило бы пятно на чело их матерей. Генерал Руперт, препровождая письменные ответы декабристов, снабдил их отзывом, в котором высказывал, что по его мнению упорством своим ссыльные лишили себя „всякого права на какое бы то ни бюло снисхождение Правительстви“.

В длинной веренице мрачных имен сияет незакатным блеском благодарности имя коменданта Лепарского. Нет среди многочисленных книг, оставленных нам декабристами, ни одной, в которой бы не было посвящено несколько самых теплых, прочувствованных страниц этому человеку. Из нашего архива припоминаю два эпизода. Когда Мария Николаевна ждала своего второго ребенка, генерал Лепарский прислал ей акушерку двумя неделями раньше того срока, который назначила она сама. После родов он пишет Сергею Григорьевичу, чтобы он не позволял своей жене самой писать, а предлагал свои услуги, чтобы известить генерала Раевского. „Княгине же Александре Николаевне может написать княгиня Трубецкая“.

Прелестный ряд женских портретов встает со страниц сибирских писем. Ближайшие подруги Марии Николаевны

были: княгиня Трубецкая, жена Фон-Визина и Ентальцева. Но самая любимая была Александра Григорьевна Муравьева Очаровательный ее внешний образ начертан в „Записках“ Барона Розена. На страницах писем Марии Николаевны проходит скорбная повесть ее угасания. Она скончалась в Петровском заводе от чахотки; она умирала ночью и, не желая будить свою маленькую дочь, просила принести ей ее куклу и простилась с куклой. Она похоронена в церковной ограде при церкви Петровского завода. Над ее могилой часовня, хорошо видная на всех картинах и снимках, изображающих эту церковь.

Нонушка, любимица декабристов, осталась на попечении отца, Никиты Михайловича Муравьева. Когда в 1843 году он умер, его мать, старуха Екатерина Федоровна Муравьева, испросила разрешение привести ее в Москву с тем, чтобы поместить в институт. Разрешение было дано; была послана за ней классная дама; не помню имени, немецкая фамилия. Девочке очень не хотелось уезжать, когда ее усаживали в карету, она плакала и металась, рвалась вон из кареты. Мария Николаевна долго не могла забыть эту отъезжающую карету... Нонушку поместили в институт под фамилией Никитина. Она на это имя не откликалась, несмотря на все наказания. Наконец, ее стали звать просто по имени. Она была ребенок с сильной волей, своенравный. Когда императрица Александра Федоровна, посещая институт, сказала ей однажды: „Почему, Нонушка, ты мне говоришь „madame“, а не называешь „maman“, как все другие девочки“? Нонушка ответила: „У меня одна только мать, и та похоронена в Сибири“. У меня был детский рисунок: какие-то дамы разговаривают с какими-то кавалерами; подписано детским почерком: „Нонушка Кате“. Кто была Катя, неизвестно и, где теперь рисунок, тоже неизвестно.

Удивительная дружба царила между нашими дамами. Одинаковость интересов, судьба мужей, рождения, болезни детей, спаяли их в тесную семью. Ни разу во всей тогдашней переписке не проскальзывает даже намека на какую-нибудь ссору, малейшее недоразумение. И при скученности, в какой они жили, это являлось свидетельством высокой

их воспитанности; редко когда с большей наглядностью выступала благотворная сила житейских форм; и надо сказать, что, несмотря на все единичиые случаи тяжелых испытаний, общий тон жизни был бодрый; они не позволяли себе распускаться, поддерживали и подбадривали друг друга: пусть, мол, недоумевает угрюмое начальство. Скоро дети стали главным центром жизни; все вращалось вокруг них; праздники, имянины, рождения подавали повод матерям изощряться в приискании развлечений; посылки из России вызывали радостный визг, становились предлогом дружеского обмена. Новая, нежная струя вливается в суровую жизнь. Это была улыбка каторги...

Легко понять, что внесли жены в жизнь изгнанников и как бедные узники их ценили. Вот стихотворение декабриста князя Одоевского, в котором чувства их нашли редкой прелести выражение. Чтобы его понять, надо помнить, что узники жили в тюрьме, окруженной высоким мачтовым тыном; к этому тыну в часы прогулки заключенных по двору подходили наши дамы и сквозь щели ограды разговаривали, рассказывали новости, передавали письма. Сперва часовые противились, один даже ударил княгиню Трубецкую прикладом, но потом начальство приказало не противиться. Ходить „к ограде“ вошло в обычай; это стало гостиной, клубом; княгиня Трубецкая, которая при полноте своей легко уставала, приносила даже с собой складной табурет. Вот как прелестно запечатлел эту картину Одоевский:

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей,
Где душен был и воздух вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,
И весь обзор обширный и прекрасный
Мучительно на волю вызывал.
Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.
И, вестники благие Провиденья,
Явилися, как дочери земли,

И узникам с улыбкой утешенья
Любовь и мир душевный принесли.
И каждый день садились у ограды;
И сквозь нее небесные уста
По капле им точили мед отрады.
С тех пор лились в темнице дни, лета.
В затворниках печали все уснули
И лишь они страшились одного, —
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули
Не бросили покрова своего.

Мы проследили внешние условия жизни. Они были тяжелы.

Но великая целительница, привычка оказывала здесь долгое, но верное свое действие. Первые пять лет надеялись, вторые пять лет надеялись меньше, а потом и ждать перестали.

Когда заходила речь о родине, княгиня Мария Николаевна с покорностью и разумной ясностью говорила: „Моя родина там, где мои дети".

Мы подходим к тому периоду нашего рассказа, про который могли бы нам рассказать люди предшествующего поколения. И вот, память моя летит к тем бумагам, которые были у меня отобраны. В их числе были замечания моей родной тетки Елены Сергеевны Рахмановой на „Записки" Н. А. Белоголового. Белоголовый, известный доктор, родом сибиряк, воспитывался в доме декабриста Поджио, когда они жили на поселении. Его книга очень интересная, заключала в себе кое-какие неточности; моя тетка написала к ним „поправки", кое-что расширила собственными воспоминаниями. Эту тетрадку она мне подарила; сколько „благоуханного" пролилось бы здесь на мой рассказ, если бы она была у меня под рукой... Чем дальше подвигаюсь в моем повествовании, тем больше приходится черпать в памяти, тем меньше в письменном документе Но ведь не может человек в памяти все сохранить; кроме того, готовя свои бумаги к изданию, я естественно уделял больше внимания тем из них, которые должны были составить первые томы; эти я перечитал по три, по четыре раза, а дальнейшее по разу, и то многие письма только, что называется, пробежал; тогда не было причины торопиться.

И вот, переступая порог новой главы нашего рассказа, вспоминаю заметки моей тетки. Портреты всех тех лиц, о которых здесь упоминалось, проходят под ее пером, но уже не в молодости, а в зрелом возрасте и в старости. Очаровательно описание княгини Трубецкой: шаль и чепец, приветливое общительное лицо, ласковые пухлые руки, тонкий ум, блестящий разговор... Она умерла в начале пятидесятых годов от рака, в страшных мучениях, и похоронена в ограде Иркутского Знаменского женского монастыря. У меня было прелестное письмо от дочери ее, Зинаиды Сергеевны Свербеевой, с описанием их жизни в Сибири и выезда в Россию. И это письмо пропало... Помню лишь, что старику Трубецкому не хотелось уезжать из Иркутска и детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены; только ради воспитания своего сына Ивана он сдался на увещания. Князя Ивана Сергеевича Трубецкого я помню в детстве; он умер от разрыва сердца, в карете, выезжая из дома Кочубеев у Красного моста на Мойке, того дома, где впоследствии жил Куропаткин. Зинаида Сергеевна Свербеева жива и посейчас ей за 80 лет; выставленная из своего имения, она живет в Орле. Ее сын Сергей Николаевич был русским послом в Берлине во время объявления войны... Возвращаемся к „заметкам“ Елены Сергеевны.

Скорбный портрет Иосифа Поджио, этого страдальца, проведшего восемь лет в Шлиссельбургской крепости, в то время как несчастной матери и сестре на все вопросы о месте нахождения его отвечали неизменным „место ссылки неизвестно“. Он приехал наконец в Усть-Куду, место своего поселения, когда наши переезжали в Урик, за месяц до рождения Елены Сергеевны. К тому времени мать его умерла, жена, урожденная Бороздина, вышла замуж за князя Гагарина. Чем-то разбитым, каким-то осенним сумраком веет от строк Елены Сергеевны, когда она описывает клочки этой страдальческой жизни. Тринадцатилетним ребенком она провожала его гроб, — это была первая смерть, которую она видела в лицо... И все это возникает под пером Елены Сергеевны из случайной прогулки на кладбище в Крыму; солнце, море, глицинии, кресты, и на одной мраморной плите:

„Княгиня Гагарина, рожденная Бороздина“: Вспоминает она каких-то черкесов, которые убили ее второго мужа; вспоминается сын Александр, который оставался в России, о котором отец неутешно тосковал... Не могу, при всем желании, передать прелести этих заметок Елены Сергеевны. Я берег эту тетрадку, как ценнейший материал, которым думал воспользоваться для предисловия к третьей части предполагавшегося издания, для той части, которая должна была быть озаглавлена — „поселение“. Да, безконечно жаль этих прелестных записок. Еще раз повторяю, чем дальше подвигаюсь в моем рассказе, тем труднее мне: должен припоминать по таким данным, которые один только раз перелистал. Читатель должен верить правдивости и искренности рассказчика, а справиться уже не по чему, спросить же не у кого:

> Увы, на жизненных браздах,
> Мгновенной жатвой, поколенья,
> По тайной воле Провиденья,
> Восходят, зреют и падут,
> Другие им вослед идут...

XI.

Волконские были переведены на поселение раньше истечения срока каторги. Вот как это случилось. В 1835 году, в ноябре месяце, умерла старуха княгиня Александра Николаевна. После ее смерти осталось письмо на имя государя, в котором она просила его вернуть сына из ссылки. Такую просьбу, конечно, Николай I не мог исполнить, но, как сказано в Высочайшем повелении, „из уважения к памяти покойной княгини“ он разрешил Волконского перевести на поселение. Таким образом двадцатилетний срок каторжных работ, который уже ранее был разными указами уменьшен до пятнадцати, для Волконского был фактически сведен к девяти с половиною годам. (Любопытно, что один из указов, смягчавших участь осужденных, был помечен 14 декабря). Но перемена наступила не так скоро. Без конца длились

переговоры с Петербургом по поводу места поселения. Николай I выразил желание, чтобы Волконский был поселен в таком месте, где нет других декабристов. Это известие повергло их в отчаяние; во-первых, тягостно было оторваться от своих, во-вторых, и для себя и для детей необходимым условием жизни была близость медицинской помощи. Они поэтому просили поселить их туда, где будет поселен и доктор Вольф, их друг и сосед по камере. Два с половиной года длилось разрешение этого вопроса; товарищи по ссылке, которым выходил срок позднее Волконских, выезжали раньше их, Петровский завод пустел, а они все ждали... Наконец, последовало приказание водворить их в селение Урик под Иркутском.

В живописном месте, на берегу красивой Ангары, среди скалистых пригорков, укутанных лесом, построили они себе летнюю дачу. „Камчатник“ звалась она. У меня было два акварельных вида, изображавших „Камчатник“; один вид — через дом на реку, — другой — с реки на дом. Это было уютно, приветливо. Кругом были очаровательные прогулки; до сих пор можно видеть там, над высоким берегом — огромный камень, в котором высечено сидение, „скамейка княгини Волконской“. Тогда началась та жизнь, о которой вспоминают старожилы Восточной Сибири, та жизнь, которою декабристы стяжали себе благодарность населения до третьего поколения включительно. Поселения стали культурными гнездами, очагами духовного света. В каждой семье жило и воспитывалось по нескольку детей местных жителей. С юных лет они поступали под воспитательный надзор жен, потом переходили в обучение к мужьям. В благотворной атмосфере культурной семейной жизни соприкасались они с наукой и искусством, крепли и зрели умственно и душевно. Все это делалось под постоянным страхом перед косыми взглядами генерал-губернатора Руперта.

Не на этих беглых страницах, испещренных разрозненными клочками воспоминаний, подводить итоги просветительной деятельности декабристов в Сибири, — вопрос ждет своего историка, и если он придет, то он придет из Сибири, не из России; но, когда я стал получать те

письма от старожилов сибирских, о которых упомянул в начале моего рассказа, вот тогда я понял, как глубоко они вспахали землю вокруг себя и какою благодарной жатвой взошли посеянные ими семена! Они часто съезжались, вели беседы, читали лекции и очень любили спорить; выписывали книги, журналы, устраивали общими силами читальни. Все это жило бойкой жизнью, в особенности летом; впоследствии семьям было разрешено жить в Иркутске, а мужьям наезжать раз, два в неделю; затем и мужья переехали в город, но к лету все возвращались на свои дачи, и закипала общая жизнь, в которой и местные принимали участие. Переезд обычно совершался в Духов день. Волконские и Трубецкие выезжали вместе, одним обозом; население выходило их встречать; „наши князья“ привозили с собой угощение. Местные жители встречали их с березками, молоком, курами, яйцами и проч. Целое народное движение жило этими словами — „князья выехали“, „князья приехали“. Праздник весны вошел в обычай и держался двадцать лет до самого того времени, когда князья уехали...

Я упомянул выше о книгах, — хочу сказать несколько слов. Вначале насчет книг было очень трудно; все получаемые книги проходили через цензуру коменданта, который ставил свою пометку. В моей библиотеке было не мало книг, на заглавном листе которых была надпись: „Видал Лепарский“, — между прочим прелестный Шекспир в десяти томах. Самое интересное — это книжное наследие декабриста Лунина. Лунин, хотя сам был католик, завещал свои книги митрополиту Иннокентию. Однажды, проезжая через Москву, отец мой случайно узнал, что продается где-то на толкучке библиотека митрополита Иннокентия; он поспешил выбрать и скупить книги, принадлежавшие Лунину. Тут были книги, ценные не только потому, что они принадлежали этому удивительному человеку, о котором скажем ниже, но ценные сами по себе. Там были, например, сочинения блаженного Августина, огромные „инфолио“ в пергаментовых переплетах с застежками, издание знаменитой старой фирмы Фробэна в Базеле, издание под редакцией Эразма Роттердамского... Все это указывает на степень и

характер умственных интересов наших изгнанников. В свое время я составил список всех книг, о которых упоминает Мария Николаевна в своих письмах: на память, конечно, не могу его рассказать, но могу засвидетельствовать, что умственная жизнь не дремала. Был еще у меня интересный альбом — сибирские птицы, от руки рисованные декабристом Петром Борисовым: удивительно тонкая работа; крылышки перышки, лапки, коготки,—все это дорисовано до последнего предела точности. И, несмотря на эту точность, не сухо; большая поэзия в этой последовательности полевых, болотных, хищных. Как сейчас помню большую сову, которая держит в когтях маленького красногрудого снигиря. Декабрист Петр Борисов умер в 1854 году от разрыва сердца, и его немножко придурковатый брат повесился при виде умершего брата. В одном письме Сергея Григорьевича к сыну есть подробное описание этой трагедии. Свой альбом, судя по собственноручной надписи, он поднес Марии Николаевне в день Рождества (не помню какого года), который был вместе с тем и днем ее рождения. Другой такой альбом с рисунками Борисова, только не птиц, а бабочек, был в частной библиотеке Николая II...

Прежде чем расстаться с книгами, упомяну еще о нескольких французских томиках в красных и зеленых кожаных переплетах, на которых золотыми буквами по-французски было вытиснено имя Екатерины Константиновой. То была незамужняя сестра Софьи Алексеевны Раевской, родная тетка княгини Марии Николаевны. Ни книги не были ничем особенно замечательны (какие то мифологические рассказы романы Руссо), ни обладательница их не была ничем особенно замечательна, она была добрая и горбатая старушка, но... она была внучка Ломоносова и за нее трижды сватался баснописец Крылов. Вот почему я любил эти книжечки, как одно из ценнейших украшений моей библиотеки...

Картина летней жизни наших изгнанников была бы не полна, если бы мы не упомянули об охоте. Разрешение охотиться было для них большой радостью. При полном их гражданском бесправии, ружье, собака, лес, дичь были для них более нежели символами свободы, — они давали им

минуты полного забвения. Много рисунков было у меня, изображавших прогулки, пикники, верхом или в лодках; мужчины одеты в сюртуки, с ружьями, патронташами. Также несколько рисунков, изображавших сцены из пребывания на Туркинских минеральных водах, куда Сергею Григорьевичу было разрешено съездить полечиться от ревматизма. Помню — рыбная ловля в горном потоке, бурятские дети вокруг костра. Достаточно сопоставить эти картинки с картинками предыдущего периода, чтобы увидать, что это другая жизнь: лес не казематъ, сюртук не арестантский халат, ружье не лопата и не лом, и верховая лошадь не тачка.

При воспоминании об охоте невольно напрашивается в память образ удивительного Лунина. Поселенный в Урике, он был очень близок с Волконскими, глубоким почитателем княгини, другом Сергея Григорьевича и учителем их сына, моего отца. Когда в 1843 году он был вторично арестован и увезен в дальний Акатуевский рудник, он оставил моему отцу свое ружье и своих двух охотничьих собак. У меня сохранилось много писем Лунина, на французском языке. Начиная с почерка, крепкого, четкого, сильного, эти письма врезываются в память, как что-то совершенно необыкновенное; сила духа, ясность мышления и точность выражения ставят его в совсем исключительное положение, не только выдвигая его в рядах современников, но вынося его за пределы своего времени. У меня была целая тетрадочка, исписанная его рукой; это была копия с его знаменитых писем сестре, тех самых писем, из-за которых последовало ему предписание на целый год прекратить всякую переписку „за неуместные рассуждения и самохвальство". В этих письмах, каждое из которых представляет в сжатой форме рассуждение философского характера, он касается самых существенных вопросов народной и государственной жизни: образа правления, судопроизводства, свободы верования, народного образования и т. д. Трудно передать впечатление, но скажу, что из „глубины сибирских руд" на расстоянии полустолетия он подает руку Владимиру Соловьеву. Среди этих философских рассуждений, одно письмо—как небольшой

рассказ. Прогулка по лесу, вдвоем „с нею“; с первых слов видно, что это Мария Николаевна. Вдруг — согбенная старушка; что то ищет на земле; оказывается, — траву, чтоб сделать настойку для больного грудью сына. „Она“ предлагает старушке следовать за собой, она даст ей хорошего целебного питья. И здесь — сравнение: как Агарь в пустыне нашла ангела, который указал ей на источник воды для умиравшего от жажды сына, так эта старушка нашла в ней ангела для утешения страданий своего сына. Вот и все. Но с каким мастерством это рассказано, и какое впечатление от этой картинки, вложенной между философских рассуждений! Припоминаю слова Листа по поводу средней части сонаты Quasi una fantasia: „Une fleur entre deux abîmes“. (Цветок между двух бездн).

Как все люди высокого духа, он обладал юмором, который никогда не покидал его. Когда ему прочитали приговор о ссылке „на вечность“, он фыркнул: „хороша вечность, — мне уже за пятьдесят лет“. Когда генерал-губернатор в Финляндии, осматривая крепость, в которой он сидел под сырыми, потными сводами, спросил, не нуждается ли он в чем-нибудь, он ответил, что ни в чем не нуждается, кроме зонтика. Редкий из товарищей пользовался таким уважением в среде сосланных. В 1826 году он состоял адъютантом при великом князе Константине Павловиче в Варшаве. Великий князь, который искренно его любил, узнав о причастности его к заговору, вручил ему заграничный паспорт, чтобы дать ему возможность спастись. Лунин возвратил паспорт, сказав: „Я разделяю их убеждения, разделю и наказание“.

Из мрака Акатуйского острога он писал в Урик несколько раз. В одном письме к Марии Николаевне он говорит: „Раз вы так добры, спрашиваете, не нужно ли мне чего из оставшихся у вас моих вещей, то прошу вас прислать мне мои часы: очень мне тяжело в бессонные ночи острожного заключения не знать, который час“. Два письма к моему отцу по-английски, — он давал ему уроки английского языка — распоряжения насчет своих охотничьих вещей и запрос о здоровье его охотничьих собак; одна звалась Дианой, а как другая, не помню... „Могила его, — говорит Сергей Григорье-

вич в „Записках“, должна быть близка сердцу каждого русского. Эта могила с очень красивой решеткой, составленной из лучей, расходящихся от креста, была подновлена лет двадцать пять тому назад стараниями и на средства моего отца. У меня было два портрета Михаила Сергеевича Лунина собственной работы; на задней стороне одного из них — внутренность острожного двора.

Понемногу центр тяжести житейских интересов нашей Урикской колонии стал перевешивать в сторону города. Понемногу и с большим трудом жены получили право жить в Иркутске, мужьям разрешено их навещать два раза в неделю, а потом и вовсе переехать в город. Княгиня Волконская получила такое разрешение только в 1845 г.

На первых порах было трудно. Разрешение на въезд в город, полученное из Петербурга, не нравилось местному начальству, оно с трудом приспособлялось к этому вкрапливанию государственных преступников в среду иркутских обывателей. Случались ложные положения. Однажды Мария Николаевна, желая доставить развлечение своей дочке, повела ее в театр (если можно назвать театром тот сарай, в котором давались в то время представления). Через несколько дней появилось распоряжение о запрещении женам государственных преступников посещать общественные места увеселений. Другое распоряжение было вызвано появлением Марии Николаевны на музыкальном вечере в институте. Повторение подобных распоряжений со стороны губернатора Пятницкого стало принимать настолько обидные и оскорбительные формы, что Мария Николаевна однажды написала о том своей сестре Екатерине Николаевне Орловой; та показала письмо брату своего мужа, в то время управляющему III Отделением. Генерал-губернатор Руперт получил строгое предписание делать разницу между государственными преступниками и их женами, которые, добровольно последовав за мужьями, не подлежат строгостям закона. За время изгнания это было первое письмо в таком духе. Но долго еще давала себя знать старая закваска. Еще в 1854 году, значит, за два года до амнистии, княгиня пишет сыну, в то время находившемуся в служебной командировке на Амуре,

что приходил в дом сборщик городских повинностей (в то время это называлось „за трубу"), и в книге значилось: „за трубу в доме преступницы Волконской". Рассказывая об этом в письме к сыну Мария Николаевна прибавляет: „Я никогда не видела твоего отца в таком гневе". Кажется, ни в одной стране не существует такой разницы между душевным складом обывателя и душевным складом представителя исполнительной власти: в особенности низы у нас с трудом осваивались со всяким „новым курсом". А новый курс начался; он начался с приездом в Иркутск в 1847 году генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева. Этот редких качеств человек, столь много сделавший для сибирского края, с первых же дней своего вступления в должность проявил себя заступником, покровителем, другом декабристов; он сразу выдвинул их, и если не в гражданском, то в общественном смысле поставил их в то положение, которое им принадлежало в силу высоких качеств образования и воспитания. Он не только принимал декабристов у себя, — он ездил к ним. С домом Волконских у него и его жены (она была родом француженка) установились отношения самой тесной дружбы. Он был восприемник старшего внука Сергея Григорьевича, Сергея Дмитриевича Молчанова: когда в переписке членов семьи декабриста попадается наименование „крестный", это значит генерал-губернатор Муравьев. Он не изменял своего отношения и в своих донесениях в Петербург, и когда зашла речь о принятии на государственную службу сына Сергея Григорьевича, моего отца, он не побоялся, испрашивая на то высочайшего разрешения, заявить, что просьба заслуживает внимания, так как молодой Волконский, окончивший Иркутскую гимназию с золотой медалью, почерпнул нравственные свои качества в родительском доме.

После этого понятно, что жизнь в тот период, к которому подходим, уже не может представлять ни черт драматизма, ни черт живописности, которыми отличается предыдущий период. Декабрист становился одним из обывателей, и если в глазах прочих обывателей что-нибудь его отличает то уж не ореол мученика, а лишь известные гражданские и

общественные ограничения. Таков уж обыватель: он готов ставить на пьедестал человека, стоящего вне общества, но он свыкается с ним, как только они встречаются на одном уровне. Если не ошибаюсь, Флобер где-то сказал: „Не прикасайтесь к кумирам, — позолота останется на руках“. Чувствуется известное опрощение, перемена репертуара, если можно так выразиться; из героической трагедии мы переходим к картинам обывательской драмы. Жизнь большого губернского города с его постоянным напряжением чиновнообщественных мелочей способна засосать всякого. Прибавить к этому, что декабристы, в течение пятнадцати лет оторванные от всякой общественной и гражданской жизни, вдруг очутились в этом губернском водовороте, — понятно станет, что они кинулись в него с известным упоением. Привыкшие говорить, от природы спорщики, он не могли проходить мимо жизни. Но здесь же попадали они в ту томительную двойственность, которую создавало им их положение: они говорили, спорили, одобряли, осуждали, но они не могли ни участвовать, ни влиять, — он были бездейственны. Это вызывало иногда раздражение, иногда упадок сил. В письмах Марии Николаевны встречаются признаки утомления от этого постоянного кипения, наполнявшего жизнь беспричинным и бесцельным беспокойством.

Переписка того времени представляет очень ценный бытовой материал. В ней мало выдающихся моментов, но накопление в течение почти двадцати лет изо дня в день повторяющихся мелочей создает картину тогдашней жизни очень занимательную, благодаря своей полноте и непрерывности. Можно проследить все интересы, волнения, заботы, развлечения того, что Сергей Григорьевич в письмах сыну называл „иркутская публика“. Не всегда это легко: письма пестрят именами, и не только именами, но и уменьшительными и даже прозвищами. Разгадать о ком идет речь, иногда было совсем невозможно. Тогда я стал по мере чтения выписывать все имена и прозвища и посылал их моей двоюродной сестре, которая жила в деревне, в Малороссии, при старой своей больной матери, той самой Елене Сергеевне Рахмановой, о которой упоминал выше по поводу замечаний на „Записки“ Белоголового.

Пятнадцать лет в параличе, но со свежей головой, с изумительной памятью, тетка моя по поводу каждого имени рассказывала какую-нибудь историю; тут были биографические данные, анекдоты, собственные воспоминания, отзывы других, — одним словом, накопился такой ценный материал, который был чуть не ценнее самих писем. Все это я разработал, проредактировал и расположил по алфавиту. К сожалению, толстая тетрадь с огромным количеством собственных имен показалась тем, кто отобрал у меня все мои бумаги, — особенно ценной. „Ведь вот сколько имен, а еще ни у кого из них не было обыска". сказали они. Ценность эта была несколько иного рода, нежели та, которую тетрадь имела в моих глазах, и она, конечно, поблекла, когда новые обладатели ее увидели, что дело идет о прошлом столетии и что алфавитный список дает перечень не современных людей, а покойников... Как бы то ни было, ключ к разгадке того, чем кишела жизнь „иркутской публики" от 1839 до 1856 годов утерян навсегда...

XII.

Дети Волконских воспитывались дома. Под руководством родителей и при содействии товарищей отца они получили с юных лет редкую подготовку к дальнейшему развитию.

Они учились английскому языку у Лунина, математике — у Муханова, Александр Поджио давал уроки истории, отец преподавал литературу; французский язык был домашним языком, на котором дети говорили и переписывались с матерью.

В 1846 году родители решили ходатайствовать о помещении сына в Иркутскую гимназию. Ходатайство, поддержанное на этот раз генерал-губернатором Рупертом, было уважено. Сын Волконских окончил курс, как мы уже упоминали, с золотой медалью; у меня сохранились книги, которые он получал при переходе из класса в класс. Окончив гимназию, Михаил Сергеевич поступил чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Муравьеве.

В качестве такового он был неоднократно посылаем в разных целях то на Амур, то на Китайскую границу, то в Камчатку, к Охотскому морю. Первые русские поселения на Амуре были водворены им.

От этих экспедиций у меня оставалось, кроме вещей, вывезенных отцом из Китая, много рисунков и картин. Самые интересные — четыре вида, рисованные пастелью работы некоего Майера; изображают: два поселка, одну высадку на берег и путешествие на собаках, по снегу мчащийся обоз. Еще был занятный рисунок: лодка, в ней молодой человек, мой отец, — в сюртуке и фуражке с околышком; на корме и на носу два бурята в китайских шляпах гребут, в ногах у моего отца сидит лягавая собака. Кстати, анекдот о собаке. Однажды отец на почтовой станции менял лошадей. Содержатель станции хлопотал вокруг тележки, раскладывал полость, утаптывал сено. Когда все было готово, и отец уселся, смотритель нагибается над собакой и спрашивает, обращаясь к отцу: „Ваше благородие, а их благородие прикажете подсадить?"

Помню еще рассказ. Во время одной из экспедиций попал отец как раз под Светлый праздник в глухое селение, — несколько лачужек. Разместились по избам, а вечером собрались в ту, которая была попросторнее, — встречать Пасху. Только разговеться нечем, кроме копченой рыбы — ничего.

„Неужели молока нет?"

„Ну, разве коровы водятся!"

„А птицы?".

„Ну, какие птицы. На весь поселок одна курица, и та никогда не несется."

Собрались. Отца попросили Евангелие прочитать. Прочитал „В начале бе слово". Пропели „Христос Воскресе". Вдруг под окнами девочка кричит: „Снесла! Снесла!"

Стук в окно, и через форточку просовывается яйцо. Тут же его сварили, разрезали на девять частей, — разговелись.

Припоминается мне еще любопытный случай, показывающий, насколько русский человек способен к колонизации.

Во время своей поездки по Амуру Муравьев высадился посмотреть на одну бурятскую деревушку и пришел в негодование, увидав, что население, через год после присоединения к России, по-русски не говорит. Он вспылил: „Поставить две сотни казаков!“ Через год отец, проезжая мимо, заехал, чтобы проверить успехи населения. Результат был неожиданный, — все казаки говорили по-бурятски. Отец хорошо знал Сибирь, природу и людей, разнообразные племена, ее заселяющие, и странные житейские и трудные политические отношения, которые порождаются встречею обычаев и интересов. Впоследствии, много лет спустя, он издал биографию графа Муравьева Амурского, составленную под его наблюдением Барсуковым. В этом труде он воздал дань личной и еще больше отечественной благодарности этому государствненому мужу, утолившему ту жажду моря, которою континентальная Россия томилась в течение долгих столетий, и открытием доступа к Тихому океану завершившему на востоке то, что Петр Великий начал на западе.

В близком соприкосновении с жизненными запросами края, в который судьба закинула его отца, проходила деятельность молодого Волконского вплоть до того дня, когда новые, непредвиденные события отозвали его...

Дочь Волконских звалась Еленой, Мария Николаевна звала ее английским уменьшительным Нелли; в широких кругах знакомства, не знавшего по-английски, имя было переиначено в русское „Неля“. И с этим именем перешла Елена Сергеевна в память, или вернее в сердца всех, знавших ее, на протяжении пяти поколений. Редкой красоты, живая, блестящая, обворожительная в обхождении, она была всеобщая любимица; мужчины, женщины, старушки, дети, — все ее боготворили; и до глубокой старости, в параличе, без ног, в колясочке, без руки, без глазу она до восемьдесят четвертого своего года оставалась кумиром всех окружавших ее. Я еще не встречал человека, знавшего ее, который не произносил бы ее имени иначе, как с глазами к небу и с поднятыми плечами, — так, как говорят о чем-то, подобного чему не было и не будет. Можно себе представить, что́ это было в юности.

Она вышла замуж, когда ей едва минуло шестнадцать лет. Чиновник по особым поручениям при Муравьеве Дмитрий Васильевич Молчанов был ее счастливым избранником. После свадьбы они отправились в Петербург (19-го сентября 1850 года). Если когда-нибудь расставание с дочерью могло смягчаться радостью, то конечно, в этом случае: человек умный, образованный, безупречной честности, довольно сказать — любимый из приближенных Муравьева. Письма Елены Сергеевны дышат счастьем, письма Молчанова дышат рыцарством, письма Марии Николаевны полны того покоя, который дает уверенность в неизменности того, что хорошо. Сергей Григорьевич был счастлив, видя, что хотя перед одним членом его семьи раскрывались двери родины, те двери, которые для него были закрыты навсегда. Собственное его положение не так его тяготило, сколько мучило сознание, что дети должны нести кару по вине отца... В том же году приезжала навестить сестру Софья Николаевна Раевская и провела с Волконскими несколько месяцев. Это было первое родственное лицо за двадцать четыре года. О ее пребывании в нашем архиве сведений почти нет, но в семействе Орловых, внуков Екатерины Николаевны, сохранилось много писем Софьи Николаевны из Сибири. К сожалению, я еще не имел возможности с ними познакомиться. Пребывание ее было не столь долгое, как бы она того желала: сестер беспокоило здоровье их сестры Елены; она была в Италии, и к ней поехала Софья Николаевна из Иркутска. Но она уже не застала сестру в живых. Елена Николаевна умерла в 1852 году в Фраскати, под Римом; там, в католической церкви она похоронена; над местом погребения ее вделан в стену образ, вывезенный из России....

По дороге в Петербург Молчановы остановились в Томске, где по просьбе Сергея Григорьевича навестили декабриста Гавриила Степановича Батенкова. Совсем особенная судьба этого замечательного человека. Заключенный в Петропавловскую крепость, он был забыт и только потому, что начальник III Отделения граф Орлов, знавший его лично, осведомился о нем в 1846 году, о нем вспомнили. Думают, что в крепости его держали в связи с распространившимся

слухом о его умопомешательстве. Между тем умопомешательство, если и было, то кратковременное, а вследствие тягостного одиночного заключения он потерял способность речи; это и подало повод к недоразумению. Как бы то ни было, 20 лет он просидел в крепости. Для того, чтобы не сойти с ума, он заставлял себя переводить библию каждый день на другой язык. Во рву крепости, где ему разрешено было работать, он посадил яблоню, — с этой яблони он ел яблоки... Наконец, последовало распоряжение о переводе его в Томск. С первого же свидания с Еленой Сергеевной Батенков проникся к ней чувством нежной отеческой привязанности. Трогательны письма старика; не знаешь, что трогательнее — нежность или уважение. Он был возвращен из ссылки, как и прочие оставшиеся в живых декабристы, и дожил свой век в Калуге. Здесь Елена Сергеевна его посетила незадолго до его смерти. До конца дней своих хранил он память о ней. Может быть, в каком-нибудь иллюстрированном издании вам попался портрет Батенкова: он сидит у стола, и на столе женский портрет, — это Елена Сергеевна.

В Петербурге молодую чету встретили с распростертыми объятиями:

> Родне, прибывшей издалека,
> Повсюду радостная встреча,
> И восклицанья, и хлеб-соль.

Елена Сергеевна была первая, приехавшая из Сибири, — она была тот голубь, который был выпущен из ковчега... Среди всех родственников она особенно сблизилась со своей теткой, сестрою ее отца, княгиней Софьей Григорьевной Волконской. Их сблизила общая пылкость воображения, известная восторженность и некоторое пренебрежение к внешним формам жизни, к светским обычаям. В Софье Григорьевне это пренебрежение требованиями светского общежития с годами достигло совсем невероятных проявлений в связи с возраставшей скупостью и развившейся к старости клептоманией. О ней поговорим ниже, а сейчас хочу рассказать два случая из петербургского пребывания

Елены Сергеевны, рисующих отношение Николая I к декабристам.

Муж Софьи Григорьевны, князь Петр Михайлович Волконский, бывший при Александре I начальником штаба, с воцарением Николая I получил назначение на пост министра двора, на каковом и оставался по день своей смерти в 1852 году. Он очень полюбил красивую и обворожительную племянницу своей жены, баловал ее и, между прочим, часто приглашал ее с собой в итальянскую оперу, в свою большую министерскую ложу, напротив царской.

Однажды Николай I в антракте спросил Петра Михайловича:

— Кто это у тебя в ложе сидит, красавица?

— Это моя племянница.

— Какая племянница? У тебя нет племянницы.

— Волконская.

— Какая Волконская?

— Дочь Сергея.

— Ах, это того, который умер.

— Он, Ваше Величество, не умер...

— Когда я говорю, что он умер, значит, умер.

Впоследствии, когда Петр Михайлович лежал на смертном одре, Елена Сергеевна ходила за ним. Государь почти ежедневно навещал больного, и Елена Сергеевна, не желая попадаться на глаза, уходила в другую комнату, когда докладывали о его приходе; больной, повидимому, не замечал этого. Но однажды она отмахивала мух, когда доложили о приходе государя; она сложила опахало, собираясь уйти, — старик сказал ей: „Останьтесь“. Государь просидел у постели больного двадцать минут, был к нему отменно ласков и внимателен, но ее как будто не заметил и не сказал ей ни слова. Она продолжала отмахивать мух...

Рассказы племянницы пробудили в сердце Софьи Григорьевны более двадцати лет дремавшие в нем родственные чувства к брату-изгнаннику. Она решила навестить его. Год целый собиралась она: то не могла выехать, то не знала, каким путем поедет. Есть письмо, в котором она объявляет, что поедет через Оренбург. „Подумайте, прибавляет она,

какие для меня воспоминания". Наконец, она собралась весною 1854 года и поехала обычным сибирским „трактом",— через Москву в Нижний. Для того, чтобы предпринять эту поездку, ей, понятно, пришлось просить разрешения. И ее положение, и положение того, к кому она ехала, было слишком исключительно. Николаю I это, конечно, не нравилось, но он разрешил. От нее была отобрана подписка, что она не будет ни с кем входить в неподобающую переписку, при возвращении не примет ни от кого писем, вообще будет вести себя с соответствующей обстоятельствам осторожностью. Можно себе представить впечатление, какое произвело в Сибири это путешествие фельдмаршальши, вдовы министра двора, едущей навестить ссыльного брата. Сергей Григорьевич выехал на встречу сестре, за семь верст от Иркутска в Иннокентьевский монастырь. Был июнь месяц, не помню какое число, но любопытно, что было то самое число того же месяца, в какое они двадцать восемь лет тому назад расстались на станции под Петербургом, когда он по этапу уходил в Сибирь. Многое с тех пор переменилось, но больше всего переменилась сама Софья Григорьевна.

Был у моей тетки Елены Сергеевны портрет Софьи Григорьевны в юности, миниатюра работы знаменитого Изабэ. Этот портрет она даже завещала мне, но он не дошел до меня, а если бы и дошел, то, вероятно, и ушел бы от меня. Миниатюра эта писана в 1815 году в Вене, во время Венского конгресса. Красивая энергичная голова, белое атласное высоко подпоясанное платье, черные жгучие глаза смотрят в бок, в черных волосах над правым виском пучок из маков и колосьев; и все это под облаком кисейного покрывала, вздутого ветром, который, откуда ни возьмись, всегда дует в женских портретах Изабэ. Она была похожа на своего отца, по крайней мере Григорий Семенович в одном письме писал ей: „Все сознают, что ваше прекрасное лице подобно моему изношенному". Известен другой ее портрет в молодости работы Боровиковского. В открытом белом платье она сидит и держит на коленях медальон с изображением своего деда Репнина; прекрасно выписана

оголенная рука. Рукой своей Софья Григорьевна любила хвалиться. В старости она говаривала: „Я никогда не была особенно красива, но я недурно играла на арфе, рука от плеча до пальцев была у меня как точеная, а в глазах было то неуловимое, что нравится мужчинам".

От всего этого уже ничего не оставалось; может быть, арфа еще где-нибудь была, но история об этом умалчивает. Софье Григорьевне в это время было шестьдесят восемь лет. Она была высокая крепкая старуха; она была, кроме того, страшная старуха. Я видел ее за год до ее смерти, в 1867 году, — значит, каких-нибудь тринадцать лет после сибирского ее путешествия, — она была страшная, с большими черными усами; когда она снимала чепец, обнажалась лысая голова, покрытая шишками.

Весь этот внешний облик поражал еще больше, когда начинали проявляться ее привычки и черты характера. Днем она ходила в длинных черных балахонах, очень широких, свободных, но спала в корсете; и для шнуровки этого корсета состоял при ней казак Дементий. Ходила она грузным шагом, и так как она всегда носила с собой мешок, в котором были какие-то ключи, какие-то инструменты, то ее приближение издали возвещалось металлическим лязгом. Скупость ее к концу жизни достигла чудовищных размеров и дошла до болезненных проявлений клептомании: куски сахару, спички, апельсины, карандаши поглощались ее мешком, когда она бывала в гостях, с ловкостью, достойной фокусника.

Но странно при этом, что столь скупая в мелочах, она бывала способна на неожиданные щедроты: она бранила горничную за то, что та извела спичку, чтобы зажечь свечу, когда могла зажечь ее о другую свечу, а вместе с тем, не задумываясь, делала бедной родственнице подарок в двадцать тысяч. Привычки ее с каждым годом „упрощались". Страстная путешественница, она изъездила Европу на империале омнибуса. Однажды ее там на омнибусе арестовали потому что заметили, что в чулках у нее просвечивали бриллианты; она подняла гвалт, грозилась, что будет писать папе римскому, королеве Нидерландской и еще не знаю

кому, — ее отпустили. Она действительно состояла в переписке со всей коронованной и литературной Европой... Между прочим у нас был чайный сервиз, который ей подарил английский король Георг IV; указывая на этот сервиз, она всегда говорила: „И это не был подарок короля, это был подарок мужчины женщине“.

Впоследствии, когда появились железные дороги, она ездила в третьем классе и уверяла, что это „ради изучения нравов“. Из гостиниц, в которых она останавливалась, она увозила свечные огарки. Прелестный случай передавала мне внучка старшего брата Софьи Григорьевны, Ольга Павловна Орлова. Однажды, уезжая из Италии в Россию, Софья Григорьевна поручила своему брату Николаю сундук с некоторыми ее вещами, которые она с собою не брала, и просила его сохранить до ее возвращения. Сундук этот, втечение многих месяцев переезжавший с места на место (тогда путешествовали на лошадях) пришел в такую ветхость, что, наконец, надо было его вскрыть: в нем оказались дрова. Ее практическая изворотливость не имела границ; в своем доме на Мойке она сдавала квартиру своему сыну, сын уехал в отлучку, — она воспользовалась этим и сама вселилась в его комнаты. Таким образом она ухитрилась в собственном доме прожить целую зиму в квартире, за которую получала. Не меньшую изворотливость принимали проявления в области сердечных чувств. У нее был лакей Афанасий. Когда она приехала погостить в семье своего покойного старшего брата, она перекрестила его в Николая. Почему? „Потому, отвечала она, что это имя моего любимого брата“. При ней состояла долгие годы компанионкой некая Аделаида Пэт, родом итальянка. Маленькая, горбатая, некрасивая, с двумя зубами, торчавшими наружу, но удивительно живая, остроумная, веселая. Человек с горячей искренней душой она осталась в памяти трех поколений семьи, как воплощение честности и преданности, а также, как редко красноречивый пример красоты духа, торжествующий над несовершенством материи. Я знал ее. Она дожила до глубокой старости. В 1881 году я навестил ее в Италии. В Тоскане, между Пизой и Ливурном, на горе, стоял ее домик.

Два кипариса обрамляли нескончаемую сеть в голубую даль уходящих виноградников... Маленькое горбатое существо еще сгорбилось и стало еще меньше, но не потух горящий уголь черных глаз. И вечер был тих, и летали светляки, и вкусны были фиги и легкое тосканское вино... У нее оставалось несколько вещиц от Софьи Григорьевны, она их подарила моему отцу; между прочим — прелестную деревянную статуэтку Пушкина, работы Теребенева...

Таковы были эти две женщины, столь мало друг на друга похожие и столь тесно друг с другом сжившиеся, которые приехали в гости к нашим иркутским изгнанникам. Нечего говорить, сколько оживления и новизны они внесли не только в домашнюю, но и в городскую жизнь. Более того, — Софья Григорьевна не удовольствовалась Иркутском. „Милая, проворная, летучая моя путешественница", как звал ее отец Григорий Семенович, ездила на Китайскую границу в Кяхту. Китайцы, засматриваясь на ее усы и бороду, огорчали ее знаками непочтительного веселья. Она посещала буддийские монастыри, задавшись целью во что бы то ни стало увидать великого ламу. Как раз в это время лама был болен, но Софья Григорьевна ни перед чем не останавливалась. „Живого или мертвого, а я его увижу". И действительно, увидала его и поднесла ему собственного изделия бисерный кошелек. Елена Сергеевна сопровождала тетку. В одном из буддийских монастырей их повели полюбоваться целебным источником; он вытекал из месива вязкой красной глины. Зачерпывая воду, Елена Сергеевна испачкала руку, и, пока она стояла, в недоумении оглядываясь, обо что бы обтереть, красивый молодой жрец подскочил и, подобрав полу своего шелкового халата, вышитого золотыми драконами, голубой подкладкой обтер вязкую красную глину. Герцог Лестер, когда бросил в лужу свой плащ под ноги королеве Елизавете, чтобы, входя в карету она не запачкала башмаков, выказал не более рыцарства, чем этот безизвестный житель монгольской пустыни.

Приезды, вернее, наезды фельдмаршальши, светлейшей княгини Волконской не всегда бывали удобны для местных жителей. Она останавливалась, конечно, не в гостиницах,

да таких и не было, а у кого-нибудь из местных чиновников или купцов. Чтобы принять такую гостью, закалывали лучшего тельца; не всякому это было по карману, в особенности, если гостья заживалась. Постоянные были пререкания с ямщиками из-за чаев и с содержателями станций из-за прогонов. В первый же день приезда ее, Мария Николаевна из своей комнаты услышала в гостиной резкую перебранку; отворив дверь, она увидела что ее золовка сводила счеты с содержателем иркутской станции Анкудиновым; на все его требования и доводы она отвечала все одно: „Нет, нет, я была с вами достаточно женерезна“ (от французского слова „généreux“).

Отец мой, в то время, как приехала Софья Григорьевна, не был в Иркутстке; он возвращался из одной из своих экспедиций и вез с собой, конечно, много подарков, гостинцев с китайской границы. По дороге он услышал, что к ним приехала тетка. „Ну, думает, не много останется из привезенных вещей“. Содержимое пятнадцати ящиков было установлено в одной комнате вдоль стен. В течение недели Софья Григорьевна каждый день обходила, выбирала, уносила: в конце недели столы опустели. Оставалась соболья шкурка, которую отец привез себе на шапку; но вдруг и она исчезла. Отец пошел искать ее и, войдя к тетке в комнату, глянул на кровать: из под подушки торчала мордочка...

Несмотря на все ее странности, осложнявшие естественное течение жизни, ее любили за блеск ее разговора, за яркость эпитетов, неожиданность сравнений. Она была мастерица на прозвища; у меня был целый список их... Но с годами странности приняли такие размеры и такие формы, что понемногу все, даже Елена Сергеевна, были вынуждены разойтись с ней.

В это приблизительно время немного позднее, обрушилось на Волконских большое горе. Муж Елены Сергеевны Молчанов, стал подавать признаки страшной болезни, — разжижения спинного мозга. Елена Сергеевна собралась везти его в Москву, а убитой горем Марии Николаевне оставила в утешение своего маленького Сережу. Здесь случилось одно обстоятельство, усугубившее и страдание боль-

ного и тревогу окружавших. Все письма того времени на протяжении двух лет, а, может быть, и более, полны тем, что стало известно под именем „дела Занадворова“. Богатый лесопромышленник и поставщик Занадворов однажды объявил, что Молчанов получил с него взятку. Вне себя Молчанов побежал к Муравьеву. Говорят, что не видали Муравьева в таком состоянии гнева. У меня была записка на четырех страницах, без подписи, не знаю, кем составленная; в этой записке удивительно картинно описывался блистательный официальный прием в генерал-губернаторском доме, — весь чиновный люд, военные власти, духовенство, купечество. В рядах последнего был и Занадворов. Отворилась дверь и из нее не вышел, а вылетел Муравьев, прямо на Занадворова. В присутствии всех он так отчитал его, что тот с опущенной головой должен был выйти, как избитая собака, а генерал-губернатор громким голосом, чтобы он слышал, приказал полицмейстеру каждый вечер докладывать ему о поведении Занадворова и с кем он видается. Не могу здесь в кратких словах и на память передать тот трепет, которым проникнут рассказ неизвестного свидетеля этой сцены, но чувствуется, что вся Восточная Сибирь была взволнована этим делом. Волнение перекинулось и в Западную Сибирь. Муравьев настоял на том, чтобы, для большого беспристрастия, дело разбиралось в одном из западно-сибирских судов. Однако, это не помогло: против силы золота не было средств предосторожности, — суд был подкуплен Занадворовым. Волнения пуще разгорались; больной в Москве терял последние проблески рассудка, домашние в Иркутске томились в ожидании второй инстанции. Занадворов поехал в Петербург и Москву хлопотать. Есть указания в письмах, что им были сделаны попытки воздействовать на Сенат, но они разбились об этот оплот правосудия: Молчанов был оправдан. Какая судьба постигла Занадворова, не помню, но Молчанов своего оправдания уже не мог узнать, он умер до окончания дела, да и рассудок его давно угас. На похоронах Молчанова в ту минуту, когда выносили из дому гроб, подкатила коляска, — в ней сидел Занадворов. Александр Николаевич Раевский кинулся к нему с угрозами

и помешал ему выйти из коляски, — он уехал, прежде чем Елена Сергеевна его заметила.

Время, о котором мы говорим в этой главе, было временем Крымской войны. Когда война началась, княгиня Мария Николаевна прошла через трудное испытание. Сергей Григорьевич решил проситься рядовым на театр военных действий: проснулся боевой пыл в душе старого воина на шестьдесят четвертом году от роду. Все просьбы княгини оставались тщетны, он уже готовил прошение на Высочайшее имя, и только когда Мария Николаевна указала на все принесенные ею жертвы и во имя их просила и его принести жертву ей и детям, согласился он уступить и отказался от своего намерения. Но декабристы жили войною; с нетерпеливым трепетом следили они за известиями, увы, столь запоздалыми. Они не сомневались в благополучном исходе, они верили в торжество того оружия, которое сорок лет тому назад низвергло Наполеона. Пока из далекого Крыма долетали отголоски боев под твердынями Севастополя, с Востока приходили вести о встречах наших китоловных судов с англичанами в устьях Амура и в Охотском море... Но пыл старых воинов смирялся, надежды блекли...

В 1855 году умер Николай I. С трудом читатель поверит, но между тем это так: при известии о его кончине Сергей Григорьевич плакал, как ребенок. Мой отец об этом рассказывал, и я нашел подтверждение тому в архиве нашем. Княгиня Мария Николаевна пишет сыну, бывшему в отлучке: „Твой отец плачет, я третий день не знаю, что с ним делать". Было ли здесь воспоминание о прежней близости к царской семье? Было ли личное чувство к Николаю I, в связи с нарушением присяги? Многое было в этих слезах, но, несомненно, больше всего была любовь к родине, тревога за ее судьбу. Россия ходом Крымской войны очутилась на краю капитуляции. Император умер, новый император был, как и всегда всякий новый император, а в особенности для наших изгнанников — неизвестная величина. Сергей Григорьевич, как и все вокруг него, привык смотреть на Николая I, как на оплот русской державы; для него перемена

была почти равносильна развалу. Кто мог удержать Россию от падения? Какая сила, кроме Николая? Увы! Они, как и многие, смешивали два понятия; они испытали гнет его, но гнет не есть сила. И в этом ошибка многих и не только тогда, но и в позднейших поколениях. Нигде, может быть, как в России, не смешивались эти два понятия. И все внешнее, что является результатом гнета, принималось за внутреннюю силу. И когда только вылечится русское сознание от этого пагубного смешения? Сколько лжи, — национальной, политической, религиозной, общественной и воспитательной из этого смешения понятий гнета и силы. Ложь. Типическая болезнь русской государственности! Ложь и сестра ее — лицемерие, лицемерие и изнанка его — цинизм. Без них Россия не существовала. Но ведь вопрос жизни не в существовании, а в достойном существовании. И, если хотим быть искренними перед самими собою, мы должны признать, что, если Россия не может существовать иначе, чем существовала, то она не заслуживает существования. До сих пор она еще не показала, что может существовать иначе...

Итак Сергей Григорьевич оплакивал Николая I. Не будем теряться в объяснении этих слез, но отдадим им должное; мы можем и не знать, что было в этих слезах, но мы наверное знаем, чего в них не было. В них не было ни капли эгоизма. Если бы он думал о себе, он должен был бы прежде всего обрадоваться; естественно было декабристам предвидеть хоть какую-нибудь перемену в своей судьбе в связи с переменой царствования. Но он не думал о себе; он думал о том мраке, который ложился на родину, он и не ощущал даже, что луч света начинал проникать в ту тьму, которая его окружала. В письмах долго нет даже намека на какое-либо пробуждение надежды. Александр II вступил на престол 19-го февраля; только в апреле находим вскользь брошенное Марией Николаевной слово: нельзя ли узнать: может быть, есть какое-нибудь движение. Это было мало; все же это есть указание на то, что они ждали. Конечно, никому и в голову не приходило, что сын Николая I даст полную амнистию тем, кто поднялся против его

отца. Как мало декабристы расчитывали на выезд из Сибири, мы сейчас увидим.

Здоровье княгини Марии Николаевны было сильно расшатано. С первых же недель своего пребывания в Сибири она жалуется на страшное влияние холода; она говорит, что у нее иногда в груди такая боль, как будто ее режут острые лезвия ножей. Не мудрено, когда по два, по три месяца стояли такие морозы, что иркутские модницы говорили: „Как плюнешь, так покатится". К болям в груди прибавились сердечные припадки, особенно усилившиеся за время пребывания в Урике. Больших хлопот стоило Марии Николаевне получить право на переезд в Иркутск, но и это не помогло, — она, наконец, решила просить разрешения приехать в Москву посоветоваться с тамошними врачами. Разрешение последовало, но замечательно, что в своем прошении Мария Николаевна заявляла, что она только в том случае сочтет для себя возможным воспользоваться им, если ей будет дозволено вернуться в Сибирь. Вот как мало предвидели они возможность возвращения сосланных...

Разрешение на приезд княгини Волконской в Москву было выхлопотано Еленой Сергеевной при заступничестве великой княгини Марии Николаевны. Сама Елена Сергеевна в это время продолжала вести жизнь сестры милосердия, проводя дни у изголовья больного. Много тяжелого перенесла она за это время. Она приехала в Москву в год холеры, город был пуст, из родственников никого, все повыехали. Мельком помню ее рассказы о жарком, пыльном лете, о ее скитаниях по канцеляриям, об ужасном одиночестве с несчастным мужем, которого она в колясочке катала по пыльным знойым улицам. К довершению несчастия, Молчанов, несмотря на болезненное свое состояние, был присужден к предварительному заключению. В страшном горе молодая, неопытная женщина кидалась направо и налево, чтобы высвободить несчастного из тюрьмы. Наконец—случайная встреча с каким-то незнакомым доктором, который сжалился над ее положением, взял ее дело в свои руки, все устроил и исчез. Несколько лет спустя, в Петербурге, в фойэ большого театра, уже невеста своего второго мужа

Кочубея, гуляла она, окруженная родными своими и своего жениха, когда вдруг кинулась навстречу человеку, который для всех был незнакомцем: то был ее московский покровитель. Мало кто способен, будучи на вершине счастья, не только выделить, но даже признать того, с кем случайно встретился в смиренной доле.

Помню еще из тогдашних ее московских томлений. Выходя из острога, она под воротами разговорилась с дворником; вдруг дворник схватывает ее за плечи, поворачивает и сильным толчком в спину впихивает в свою комнату. Дверь за нею запирается. Она оборачивается — за ней никого, дворник остался на дворе. Ничего не понимая, она глянула в окошко и увидела людей, проходивших мимо нее и повидимому тащивших что-то тяжелое. Когда люди прошли, дворник вошел, чтобы выпустить ее. Он объяснил, что то были гробы с холерными покойниками, и ему не хотелось, чтобы она, и так уже измученная, видела это печальное зрелище. Вот две светлых точки в тогдашней ее пустыне: дворник и неизвестный доктор.

Но холера прошла, в Москву стали возвращаться, жизнь стала улучшаться; только здоровье мужа ухудшалось. Однажды, возвращаясь домой после утомительных своих хлопот, Елена Сергеевна отворила дверь своей гостиной, — на диване сидела ее мать, а у ног ее играл ее маленький Сережа.

Сергей Григорьевич в Иркутске остался один; Михаил Сергеевич большею частью был в служебных отлучках, — он остался один. Он ждал. Ночь дрогнула, занималась заря...

XIII.

Сергей Григорьевич остался в памяти семейной, как человек не от мира сего. Странности его отца, Григория Семеновича, принявшие такой резкий характер в Софье Григорьевне, в нем как бы утратили свою материальность, одухотворились.

Насколько сестра была скупа и падка на блага мира сего, настолько он был щедр и бессребренник: он дважды

отказался от наследства двух своих теток, не желая обделять более близких наследников.

Он был мягок, незлобив, страшно рассеян. Он любил музыку и обожал чтение. С книгою в руках, почти иначе его не видали. Чтение и переписка были любимыми его занятиями. У меня, между прочим, была тетрадка, в которую он вносил заметки по поводу прочитанного и делал выписки; из нее видно, что последняя прочитанная им книга была: Токвиль „Революция и старый порядок". Письма его писаны на больших четвертных листах очень трудно разбираемым почерком, — это он в равной степени с сестрой унаследовал от отца, — тем своеобразным языком начала XIX века, который он сохранил до конца дней своих и которым писаны и его „Записки". Только в книгах и письмах проявлял он аккуратность, во всем прочем царили беспорядок и рассеянность. Когда его отрывали от чтения, он отодвигал очки на лоб и потом бегал по дому в поисках за ними. Домашние говорили, смеясь, что рассеянность лечит его от последствий сидячей жизни. Впрочем, это было не совсем верно, он любил ходить, как любят ходить все, кто любит природу. Еще в Чите он пристрастился к огородничеству. У меня был рисунок, изображавший парники Сергея Григорьевича во дворе Читинского острога. Понятно, что в Урике, в деревне, эта страсть еще больше развилась, когда расширилась возможность ее удовлетворять. Его овощи и цветы славились по всей округе. В земляной работе он находил упоение. Люди высокого духа всегда любят землю, ее жизнедательное лоно; для них земля есть осуществляющая материя, — то дело, без которого вера мертва. И в свою очередь, люди земли больше всех других рабочих способны чувствовать духовность. Какой рабочий чувствует красоту так, как чувствует ее садовник? Приведем к простейшему знаменателю: небо любит землю, земля любит небо. Идея любит свою материю, материя любит свою идею. Люди высокого духа стоят посредине, и их любовь делится в в равной доле, — восходит к небу и нисходит к земле.

Сергей Григорьевич глубоко это чувствовал, что любил не только землю и то, что она родит, он любил и тех, кто

на ней работает. Он охотно бросал книгу, чтобы идти на огород, но он также охотно оставлял дом, чтобы пойти на базар поговорить с мужиками. „Крестьяне", говорит о нем кто-то, кажется, Белоголовый, „это была его слабость". В Иркутске это не нравилось, находили, что князю неуместно с мужиками на базаре разговаривать. Да и все его увлечение земледелием не нравилось. Надо принять во внимание, что сибирская „аристократия" была купеческая, богатство их было промысловое; земля и земляная работа не в чести обреталась, и на нее ложилось нечто рабское от того сословия, которое на ней работало. Сергею Григорьевичу такие соображения были чужды, да и могли ли не быть чужды человеку, принесшему все в жертву идее освобождения крестьян? Что мог он, потерявший все, что мог он отдать? Что, кроме доброго слова, сердечного участия? Однажды в Урике он получил письмо от одной бывшей крепостной своей матери, одной из многочисленных мамушек и девушек, состоявших при покойной княгине, — некоей Василисы, которая, очевидно, не зная, что Сергей Григорьевич уже не имел „собственности", просила его дать отпускную брату ее Петру Обрядину. Он пересылает письмо своим братьям, поддерживает просьбу и при этом напоминает изречение апостола Павла: „Потеряете раба, но приобретете брата".

Сергей Григорьевич, как и все декабристы, кроме Трубецкого, который был молчалив, — был неугомонный спорщик и неиссякаемый рассказчик. Споры декабристов поневоле носили книжный характер; оторванные от жизни, они больше вращались в мире идей, нежели в области фактов. Рассказы Сергея Григорьевича были всегда занимательны. Он родился в 1788 г., ему было 12 лет, когда вступил на престол Александр I. Он был не только сознательным зрителем, но и участником великих событий европейской истории. Он был в Париже в тот день, когда Наполеон вернулся в свою столицу после побега с острова Эльбы. На Венском конгрессе он знал всю Европу. Боевая жизнь его прошла разнообразно и славно, 58 сражений, знаки отличия. Главнокомандующие его любили, Александр I назвал его „Monsieur Serge". И после этого шахты Благодатского руд-

ника и каземат Петровского завода. Как Григорий говорит Пимену:

> Ты воевал под башнями Казани,
> Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
> Ты видел двор и роскошь Иоанна...

С такими глазами должны были смотреть в Сибири на этого князя Волконского. Можно себе представить, при хорошей памяти, при любви к рассказу, при добром общительном настроении, как он мог быть интересен. Помню, передавали мне, как после возвращения из ссылки, проводя лето 1863 года под Ревелем, в имении Фалль, принадлежавшем теще его сына, княгине Марии Александровне Волконской, он принял привычку за чаем рассказывать. Народу было много, стол был большой, он увлекался и каждый вечер уходил воспоминаниями все дальше назад. Однажды он начал обычным своим вступлением: „Это было...“ Все притаились, когда же? И вдруг он сухо и четко выпаливает: „в первом году“. По-русски это звучит не так четко и сухо, но по-французски — „l'année un“ — вызвало всеобщий смех веселья своею краткостью и неожиданностью, а также определенностью сопутствовавшего движения указательного пальца.

Я, конечно, не мог ни видеть, ни слышать людей, знавших Сергея Григорьевича молодым, понятно поэтому, что и в памяти моей он запечатлелся как старик. Большинство его портретов — позднего времени. Из молодых портретов есть известная, во всех изданиях воспроизведенная, миниатюра Изабэ: в полуоборот, плечом вперед, с прядью курчавых русых волос на лбу, смотрит он голубыми глазами и правой рукой через грудь придерживает меховую шинель на левом плече, указательный палец в белой перчатке продет в золотую петлицу шинели. Этот красивый портрет, сделанный во время Венского конгресса, остался в моей квартире в Риме, потому уцелел. Там же осталась у меня миниатюра с изображением пасынка Наполеона I, принца Евгения Богарнэ. Они с дедом моим часто встречались в мастерской Изабэ, подружились, и принц подарил ему свой портрет.

Другой молодой портрет Сергея Григорьевича — работы известного английского портретиста Дау 1822 г. Этот портрет в генеральской форме, находился в Зимнем Дворце, в галлерее Отечественной войны; после декабрьского восстания он был исключен из нее. Я хорошо помню на стене, сплошь занятой портретами — черный квадрат. В 1903 году директор Императорского Эрмитажа, мой дядя Иван Александрович Всеволожский, обходя чердаки Зимнего Дворца, наткнулся на этот портрет. При всеподданнейшем докладе о своей находке он просил разрешения на водворение его на прежнем месте. Николай II сказал: „Конечно, это было так давно". Таким образом портрет, пробывший в ссылке 77 лет, возвращен сорока четырьмя годами позднее, нежели тот, кто на нем изображен... У него те же курчавые волосы, что на портрете Изабэ, но темнее; у него очень сильно обозначены две характерные черты его — большие глаза навыкат и отвислая губа.

Нечего говорить, что портрет этот, как все портреты Дауовской серии 12-го года, дышит воинственным пылом.

Мне всегда казалось, что портреты этого удивительного мастера составляют как-бы этюды для одной большой картины, и что наверное где-нибудь есть, а во всяком случае в голове художника осталась одна общая картина, изображающая эпопею Отечественной войны, и что отдельные портреты или готовятся войти в нее, или из нее вышли. Галлерея 12-го года в Зимнем Дворце, конечно, одна из прекраснейших страниц художественно-исторической летописи.

Из раннего сибирского периода есть два портрета работы Николая Бестужева в арестантском халате и более поздний портрет шведского художника Мазера, приблизительно 1852 года. Этого художника у меня было несколько карандашных портретов: Пущина, братьев Крюковых, Андреевича и масляными красками портрет Марии Николаевны с удивительно выписанными глазами, — грустными, глубокими. Где находится портрет моего деда, работы Мазера, не знаю, — я его видал в изданиях; он неприятен, сух.

В то время, на котором остановился наш рассказ, внешность Сергея Григорьевича производила очень сильное впе-

чатление: высокий рост, широкие плечи, большая окладистая белая борода и длинные до плеч седые волосы; он вызывал в памяти образ патриарха. На улице люди, не знавшие его оборачивались. Он внушал ту тишину, которая есть всегдашний спутник уважения. Один мой хороший приятель в уездном городе Борисоглебске, местный аптекарь Роберт Карлович Вейс, ревельский уроженец, закинутый в Тамбовскую губернию, рассказывал мне, что однажды, проходя мимо постоялого двора, на соборной площади, он увидел сидящего на лавочке старца с белой бородой. В крылатке и широкополой шляпе сидел он, сложив руки на крючковатой палке. Мой знакомый, в то время совсем молодой человек, до такой степени был поражен зрелищем его, что, проходя мимо, невольно замедлил шаг и низко поклонился. Уже после ему сказали, что это декабрист Волконский. Он в это время приезжал с моим отцом осматривать имение, которое отец покупал, ту самую Павловку, о которой уже упоминалось.

Палка эта была у меня; это та палка, с которой он изображен на известной литографии Кирхнера. А широкополую шляпу и крылатку знал весь Иркутск. Карманы крылатки всегда были набиты леденцами и пряниками, и встречавшие его дети издали уже кричали: „Дедушка идет!“. С хохотом и плясом бежали они за ним, предвкушая обычную раздачу. Но дедушка имел свои привычки и соблюдал их в мелочах так же неотступно, как и в важных случаях жизни соблюдал принципы. Он шел на мост через речку Ушаковку и только здесь, на мосту, начиналась раздача с разнообразной игрой. И долго раздавались звонкий смех и звонкие голоса над рокотом говорливой реки и вырисовывался на мосту в лучах закатного солнца высокий образ в крылатке и широкополой шляпе...

Сергей Григорьевич, хотя остался один, не скучал в Иркутске. „Иркутская публика“ любила его, его навещали. Время проходило за разговорами и за „разговорцами“,—так называются в Сибири кедровые орешки. Много имен проходит на страницах наших писем, всех не перечислишь... Упомяну семьи двух губернаторов, Зорина и Струве. У Зорина были две дочери, которые впоследствии вышли замуж,

одна за члена Государственного Совета Стишинского, другая в Италии, за графа Антонэлли, племянника знаменитого кардинала, статс-секретаря Пия IX. Другой губернатор, Бернард Васильевич Струве, сын знаменитого астронома и отец известного публициста Петра Струве, тоже часто попадается в письмах; по возвращении в Россию наши семьи продолжали быть знакомы, и нашего публициста, эмигранта, издателя „Русской Мысли", я помню маленьким мальчиком; помню Петю Струве в красной рубашечке, его ставили на стол, и он с огнем читал „Полтавский бой". Брат его Николай был моим товарищем по петербургскому университету и умер консулом в Америке. Очень близка была с Волконскими начальница института Мария Александровна Дорохова, впоследствии переведенная в Нижний-Новгород; там, по пути в Москву, останавливалась, отдыхала, пила вкусный кофе Мария Николаевна. Классная дама Екатерина Петровна Лапранди, сестра севастопольского защитника, была очень дружна с Волконскими... Да всех не перечислишь. Сколько народу! И все это жило и волновалось и все, на протяжении двадцати лет, проходит в наших письмах; все это знакомилось, женилось и выходило замуж; все это роднилось, ссорилось, расходилось и сходилось. И много любопытного можно бы рассказать, но как я уже сказал... ключ утерян...

Не важное, конечно, а все же жаль, что поглотило море забвенья. Разве важно, что Катя Клейменова на институтском балу была в розовом платье, что у смотрителя почт было много дочерей, и что сидение у единственного окна, выходившего на улицу, было расписано, и в днях и в часах соблюдалась очередь? Разве важно, что архимандрит, настоятель монастыря, заподозрев, что богатая купчиха „душою Богу предана, а грешною плотию"... предпочитает архимандриту его служку, в одно прекрасное воскресенье, после благовеста бросил обедню служить, вернулся в свои покои и застал то самое, что подозревал? Конечно, не важно. Разве важно далее, что он накинулся на служку и прокусил ему ухо, а когда дело разгласилось, пошел к зубному, чтобы тот вырвал ему два зуба, дабы, если дело дойдет до суда, подорвать самое правдоподобие обвинения? И вся жизнь наша

слагается из такого ничтожного, — это есть дым жизни; дрова сгорают, дым уходит. Жизнь оттого не теряет, конечно, что он ушел, но когда этот дым запечатлен в рассказе, когда к нему присоединяется запах того, кто о нем рассказывает, когда в нем преломляется отношение рассказчика,—о, какая прелесть в этом дыме, как он перерождается в благоухание! Вот почему всегда буду памятью лететь к моим утраченным заметкам и к заметкам Елены Сергеевны...

Сергей Григорьевич был один в Иркутске. Домашним хозяйством, за отсутствием Марии Николаевны, заведывала та самая Маша, которая приехала из Болтышки в Читу. Теперь она была Мария Матвеевна Мальнева, почтенный друг семейства. Она была вдова и имела сына Ивана Михайловича. Ваня Мальнев воспитывался в доме Волконских, а впоследствии, после выезда из Сибири, окончил курс в Горыгорецком земледельческом институте. Мария Матвеевна пережила княгиню и похоронена с нею под одной церковью. Вместе с Ваней Мальневым воспитывалось в доме Волконских двое сирот, два брата близнеца, Аркаша и Антоша (фамилии не помню). Они были столь похожи друг на друга, что даже домашние не могли их распознать. Их одевали одинаково и выводили к гостям на отгадку: который Антоша, который Аркаша. В числе писем старожилов было у меня письмо от сына Аркаши, он писал: „Если я вышел в люди, то благодаря тому, что мой отец воспитывался в доме Вашего дедушки".

В спокойствии проходило иркутское житье Сергея Григорьевича, наполняемое чтением, знакомыми, прогулками, писанием писем княжне в Москву, к сыну на Амур и чтением писем, от них получаемых. Впрочем, скажем здесь, — чужие письма, когда о получении их Сергей Григорьевич извещал своих корреспондентов, он называл листками: „Твои листки, дорогой Миша, получил". Его отец Григорий Семенович называл чужие письма начертаниями, грамотами, реляциями. Спокойно, невозмутимо текли дни, как течет река спокойно, невозмутимо, приближаясь к краю водопада. Сергей Григорьевич не знал, но мы то знаем, что приближаемся к последним дням сибирского периода, а потому окинем прощальным взглядом то, что там оставалось...

Волконские жили в собственном доме. Деревянный дом, перевезенный из Урика, стоял на высоком месте; из каждого окна открывался великолепный вид. В этом доме впоследствии было городское училище. Мой старичок корреспондент, секретарь иркутской архивной комиссии (если не ошибаюсь, его фамилия была Каменев), известил меня в 1916 году, что состоялось постановление о признании дома историческим памятником. Переулок, в котором он стоит, назван „Волконским". В училище был образ, им принадлежавший. Еще лет пятнадцать тому назад в некоторых домах Иркутска и Петровского завода можно было видеть стулья, картины, чашки, оставшиеся от Волконских. В Троицкой церкви в Иркутске есть полоса для аналоя, вышитая Марией Николаевной. Внучка священника Громова, состоявшего при Петровском каземате, которого любили декабристы и высоко чтили, обещалась через одного сибиряка прислать мне мешечек, вышитый моей бабушкой... Теперь уже не жаль. Да и стоит ли вообще расходоваться на такое чувство, как сожаление? Жизнь коротка и драгоценна, а сожаление — отверстие, через которое утекает живая вода. Русское „наплевать" пробка к этому отверстию. Но при виде того, как погибло с такою любовью собранное, не скажу это русское слово, оно оскорбит не тех, конечно, кто унижал, а память тех, кому вещи принадлежали. Нет, не скажем „наплевать", а скажем „да будет стыдно". Пусть не покажется странным, что такое значение придаю вещам. Ведь вещи — продукт культуры, следовательно, понимание их есть признак культурности. Вещи в одно и то же время и вместилище и источник культуры; являясь выразительницей прошлого, вещь в то же время оказывает воспитательное действие в настоящем. Вот почему придаю значение вещам, вот почему считаю, что кто не умеет их ценить, не культурен, и кто не только не бережет, но разрушает вещественные остатки прошлого, творит двойной грех, когда прикрывается культурой.

Не так давно один приезжий из Иркутска мне говорил, что живы в Урике тополя, посаженные княгиней Марией Николаевной. Я очень надеялся когда-нибудь увидеть трепет, услышать шелест их листов. Но побывать в Иркутске и

дальше, в Чите, в Петровском заводе уж не придется.. По фотографиям, по письмам прощаюсь с этими местами. С величественной Ангарой, с великолепным над рекою фасадом института, где наши так много проводили вечеров, обедали, слушали музыку, где Елена Сергеевна танцовала; в письмах так часто упоминается: вчера вечером были на Ангаре. Слышим прощальный звон знаменитого своим звуком иркутского соборного колокола... Прощаемся с прекрасным зданием генерал-губернаторского дома, откуда столько утешения излилось на изгнанников за последние восемь лет их пребывания, столько света на „край, слезам и скорби посвященный". Теперь, летом 1855 года, этом дом стоял пустой, — Муравьев выехал в Петербург представиться новому императору. Молодого Волконского он послал в Монголию в видах третьей экспедиции на Амур, с приказанием по выполнении поручения приехать с докладом к нему в Петербург. Таким образом он избег необходимости испрашивать Высочайшее разрешение на приезд сына государственного преступника: Волконский приезжал по обязанности службы.

Когда он приехал, в Москве уже лихорадочно сердца бились надеждою. Никто ничего не знал, и до самого дня коронации никто ничего не знал, но все уже ясно ощущали, что воздух дышит прощением. Письма из Москвы в Иркутск несли нежный благовест. И вот, может быть, самая великая минута жизни Сергея Григорьевича. Проводив сына, отъезжавшего в Россию, он все помыслы свои сосредоточил на их судьбе, не на своей. Теперь все трое, дочь, жена и сын, были вне Сибири; а у него одна только забота, чтобы их положение утратило тот характер исключительности, который являлся последствием его политической вины. Нестерпима была для него мысль, что дети и жена так долго из за него испытывают ущерб в своем материальном и общественном положении. И в ответ на все благие вести из Москвы, он из Иркутска повторяет лишь одно: „Еще и еще раз — ничего для меня, прежде чем не будет сделано все для вас".

Так встречал Сергей Григорьевич на шестьдесят восьмом году жизни первые лучи своей зари.

XIV.

Михаил Сергеевич Волконский, доложив об исполнении возложенного на него поручения, остался в Петербурге и Москве. Он знакомился с многочисленными родственниками, о которых только слышал и которых никогда не видал.

Стройный, красивый, нарядный, с прекрасным голосом, окруженный ореолом таинственности, он, этот выходец из каторги, при рождении записанный в заводские крестьяне, поражал своею воспитанностью, отличным французским языком, естественной простотой, с которой занял свое место в петербургских и московских гостиных. Лица официальные, прежде еще нежели оценить его способности, уже приняли на веру чиновника по особым поручениям при таком человеке, как Николай Николаевич Муравьев. Родные приняли его с любопытством, которое скоро перешло в одобрение. Барышни встретили с таинственным перешептыванием, которое не замедлило переродиться в обожание; в этом обожании, судя по рассказам старушки Веры Васильевны Бутаковой, двоюродной сестры Марии Николаевны, сыграли не последнюю роль удивительные бархатные с раструбом жилеты и на них, по тогдашней моде, многочисленные затейливые брелоки.

Жизнь улыбалась Михаилу Сергеевичу. Ему захотелось увидеть свет. Муравьев дал ему отпуск, — он поехал заграницу. И вот, родившийся в Петровском заводе, сын каторжника попал в Париж. Письма в Москву полны свежих юношеских впечатлений, также отчетами об исполнении дамских поручений. Описывается платье, которое он выбрал для Елены Сергеевны, — белое кисейное с воланами и на нем из бархата анютины глазки. Очень милый эпизод — прогулка с одним французом, не помню имени, который в то время, как они проходили „Севастопольским бульваром", позволил себе несколько неприятных слов с оскорбительным подмигиванием. Мой отец ничего не ответил, но в следующую прогулку он попросил парижанина свести его на высоты Монмартра. Спутник удивился и всю дорогу спрашивал, почему

его это так интересует. Только, когда они пришли, отец сказал, что здесь его дед Раевский командовал позицией, в то время как дядя его (т. е. муж Софьи Григорьевны, князь Петр Михайлович Волконский) руководил взятием Парижа. Француз понял: с тех пор они стали друзьями.

Это упоминание о ее отце среди парижской суеты должно было быть дорого Марии Николаевне. Прошлое ушло, а то малое, что от него осталось, что она нашла по возвращении, то уже было не прошлое, то было изменившееся прошлое. Все на свете меняется, все течет и уплывает; и только память наша мнит себя якорем, но на самом деле бежит во след, цепляется, слабеет... Мать Марии Николаевны, Екатерина Алексеевна Раевская давно умерла, в 1844 году— в Риме, куда она выехала со своими двумя незамужними дочерьми, Софьей и Еленой. Елена была больна грудью, и ее повезли в Италию. Сперва они жили в Неаполе. У меня был альбом с видами Неаполя, раскрашенные литографии, который был получен Марией Николаевной в Петровском заводе. На одной из картинок, изображающих набережную (Chiaja), в одном месте сделан знак и подписано: „дом, в котором мы жили". Еще было у меня в рамочке под стеклом несколько сухих цветов и листьев: это Софья Алексеевна послала в Петровский завод с могилы Вергилия... Елена Николаевна после смерти матери оставалась в Италии и, как мы уже упоминали, умерла в Фраскати в 1852 году, не дождавшись приезда сестры Софьи из Иркутска.

Другие две сестры Марии Николаевны, Екатерина Николаевна Орлова и София Николаевна Раевская были в Москве в то время, о котором говорим. Как все на свете, так меняются и сестры. София Николаевна стала более „гувернанткой", чем когда-либо. Екатерина Николаевна встретила возвращающуюся сестру подробностями семейных дрязг, которые совершенно не сочетались с ее душевным строем и корни которых терялись в обстоятельствах, совершенно ее не интересовавших.

Брат Николай в то время не был в живых. Его жена Анна Михайловна Раевская, рожденная Бороздина, была известная своим богатством и своею скупостью, также тем,

что слыла под прозвищем, данным ей Пушкиным. Однажды в Одессе Пушкин был зван на какой-то вечер, пришел рано, осмотрелся, — никого; дернул плечами и сказал: „Одна Анка рыжая, да и ту ненавижу я“. Так за ней осталось прозвище „Анка рыжая“.

Брат Александр Николаевич был в Москве. Он был женат на Екатерине Петровне Киндьяковой; она умерла вскоре после рождения дочери Александры. Наши изгнанники ее никогда не видали, но в письмах установились отношения самой нежной дружбы. Несколько портретов ее было у меня, между прочим — один с собакой. Когда Мария Николаевна отпустила дочь с больным мужем в Москву и остался с нею внук, она писала Елене Сергеевне: „Любимое развлечение Сережи — взять меня за палец и водить кругом комнаты осматривать портреты. Дольше всех мы останавливаемся перед тетей Катей, потому что она с собакой“. Александр Николаевич Раевский был тот, кому посвящен Демон Пушкина:

В тѐ дни, когда мне были новы
Все впечатления бытия,
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья;
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно посещать меня.
Печальны были наши встречи;
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он Провидение искушал,
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел,
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Мы не хотим сказать, что потому это чудное стихотворение посвящено Александру Раевскому, что Пушкин его отождествляет со своим Демоном, но та струна горечи и разочарования, которая так больно звучит в нем, была характерной чертой Александра Раевского в отношении к людям. Тем более надо ценить, что с таким характером он после смерти отца взял на себя ведение дел своей изгнанницы сестры. Смерть жены наложила на него печать непримиримости. Последние годы жизни он провел в Ницце, где и умер. Здесь за несколько месяцев до кончины его посетила Елена Сергеевна. Она попала на страшную сцену: Александр Раевский сидел перед камином, хватал охапками бумаги и кидал в пламя; среди них были письма Пушкина.. Никакие мольбы не помогли.

Летом 1856 года все тянулись в Москву, — ожидали коронации. Вернулся и Михаил Сергеевич из заграничной поездки. Муравьев разрешил ему остаться в Москве, посмотреть на торжества. Царило восторженное настроение. Севастопольские раны, наскоро залеченные Парижским трактатом, уже не болели. Очи всех с упованием взирали на Кремль, а практические заботы вращались вокруг приготовлений к праздникам. Настал и ожидаемый день, когда должно было раздаться царское слово о судьбе сибирских изгнанников.

Утром, в день коронации, еще никто ничего не знал, по крайней мере дети Сергея Григорьевича ничего не знали и в ответ на все расспросы видели лишь поднятые плечи и разведенные руки. Елена Сергеевна с Михаилом Сергеевичем сидели в местах для публики на Кремлевской площади; они видели счастливые лица, людей друг друга поздравляющих, между прочим, молодого Александра Егоровича Тимашева, впоследствии министра внутренних дел, который с крыльца издали показывал дамам, сидящим на трибунах, свои только что полученные флигель-адьютантские аксельбанты, но об отце своем они ничего не знали. Так прошел весь день.

Когда, в своей квартире на Спиридоновке они сидели за обедом, раздается звонок. Курьер из Кремля. На имя Михаила Сергеевича Волконского повестка явиться к шефу жандармов князю Долгорукому. Кратковременная всеобщая сума-

тоха. Отец спешит в Кремль. Входит в приемную, пошли доложить. Выходит князь Долгорукий с пакетом в руке: „Государь император, узнав, что вы находитесь в Москве, повелел мне передать вам манифест о помиловании декабристов, с тем чтобы вы его везли вашему отцу и его товарищам“. Можете себе представить, что это известие произвело дома, на Спиридоновке. В тот же вечер отец выехал... Москва горела огнями, гремела кликами, когда по той самой дороге, по которой двадцать девять лет тому назад Мария Николаевна в кибитке ехала, держа путь на Нерчинск, — в тарантасе выезжал Михаил Сергеевич, увозя с собой манифест о помиловании...

На придворном балу в Кремлевских залах новый император обходил гостей, когда вдруг остановился. Он нагнулся к сопровождавшему его, спросил что-то и направился в толпу. Толпа на пути его расступалась, государь проходил как бы корридором, который удлинялся по мере его продвижения. Наконец, он остановился: перед ним стояла красавица в белом кисейном платье с бархатными анютиными глазками на белом платье и в черных волосах. „Я счастлив, сказал Александр II, что могу возвратить вашего отца из ссылки и рад был послать за ним вашего брата“. Вся в слезах Елена Сергеевна погрузилась в глубокий реверанс.

Никто еще не совершал путешествия в Иркутск в столь краткий срок, как Михаил Сергеевич. Он ехал пятнадцать дней и несколько часов. Но последние часы он уже не мог ни сидеть, ни лежать, — он ехал на четвереньках. По пути его следования выходили на дорогу в ближайших селениях живущие ссыльные или члены их семей встретить вестника радости. Ожидание было так сильно, уверенность в его проезде так крепка, что выходили на дорогу, ждали на станциях. Михаил Сергеевич останавливал лошадей, читал манифест, когда было много народу, бросал несколько мимолетных слов, когда народу было мало, и летел дальше. По всей Сибири чувствовалось разряжение атмосферы. Между Москвой и Нижним он повстречался с возвращавшимся из Сибири Давыдовыми; декабрист Василий Львович умер в Красноярске, его многочисленная семья просилась выехать;

им не препятствовали; уже наступила оттепель при приближении лучей.

Михаил Сергеевич подъехал к Ангаре ночью. Дул сильный ветер, было хмурое небо и тяжелые тучи громоздились по нем. Отец нанял баркас. Река вздувалась, сильное течение уносило лодку влево, а город на горе все уходил вправо... Наконец, высадился, побежал вверх направо, к городу. Знакомыми улицами, запыхавшись, бежал он к знакомому дому. Подбежал, дернул звонок, — голос отца: „Кто там?". „Я, привез прощение". Дверь отворилась, они обнялись впотьмах. Сейчас же дали знать всем прочим; в эту ночь уже не ложились.

Немногие воспользовались открывавшейся свободой: из 121 оставалось в живых 19.

XV.

Сборы Сергея Григорьевича были очень коротки. В неделю распродались и уложились. К этому, конечно, времени относится и упаковка нашего архива; очевидно, тогда же собиралось, распределялось по пакетам, завертывалось в серую бумагу, запечатывалось и перевязывалось тесемками все это мертвое, но в почерках дышащее прошлое, которое открывалось мне с полок старого шкапа весною 1915 года. 23 сентября 1856 года, Сергей Григорьевич с сыном выехал в Москву. О приезде в Москву ничего нет, да и не может быть в нашем архиве: все члены семьи были в сборе и друг другу не писали. Пошла тихая жизнь, стесняемая лишь тем, что, как и все декабристы, Сергей Григорьевич остался под надзором полиции и не имел права въезда в столицы без особого на то разрешения. Живя в окрестностях Москвы, он часто навещал своих на Спиридоновке, даже без соблюдения особенных формальностей. В то время был генерал-губернатором граф Закревский, прежний друг и товарищ Сергея Григорьевича, и он, можно сказать, взял его на свою ответственность. Когда был из Петербурга запрос, — почему Волконский, повидимому, без разрешения бывает в Москве, Закревский так ответил, что второго запроса не последовало.

Он ездил не только в Москву; не смотря на исключительность их положения и на затруднительность передвижений в те времена, а тем более в их годы, декабристы старались поддерживать сношения. Есть указания в нашей переписке, что раз в год они съезжались в Твери. Там жил декабрист Муравьев-Апостол, у него, вероятно, и собирались; из писем видно, что таких съездов было во всяком случае два; были ли они многочисленны, не знаю; из писем можно только установить, что оба раза ездили в Тверь Сергей Григорьевич и Иван Иванович Пущин, первый из Москвы, второй из Петербурга.

„Отец ваш, пишет княгиня Мария Николаевна в последних строках своих „Записок", как вы знаете, по возвращении на родину, был принят радушно, а некоторыми даже восторженно". Чтобы оценить характер этого радушия и этой восторженности, надо припомнить политический момент, в который вернулись декабристы. Будущие реформы Александра II уже носились в воздухе; еще не было ничего оффициального, но падение крепостного права и гласное судопроизводство обсуждались везде. Вернувшись из ссылки, декабристы попали в тот же круг мыслей и чувств, за который поплатились и в котором прожили там в Сибири втечение тридцати лет; но то, что в их время было тайно, то теперь стало явно. Просидев в подполье и выйдя на свет, они оказались на уровне лучшего, что было в тогдашней общественной мысли не только широких кругов, но и кругов официальных. Был, конечно, и в них известный, как теперь выражаются, сдвиг. За тридцать лет произошел осадок, уравновесились в характерах отношения между увлечением и рассудком. Не хочу этим сказать, что они от чего бы то ни было отказывались. В своих „Записках" писанных на семьдесят восьмом году жизни, Сергей Григорьевич говорит: „Мои убеждения привели меня в Верховный Уголовный Суд, на каторгу, к тридцатилетнему изгнанию и тем не менее ни от одного слова своего и сейчас не откажусь". Эти слова из цензурных соображений должны были быть выпущены при издании „Записок", но один экземпляр был напечатан без пропуска; этот редчайший экземпляр отец мой

подарил мне; он остался в моем уездном городе среди вещей, объявленных народной собственностью. Нет, они не отказывались, но они увидели, что, в то время как их насилие потерпело неудачу, стремления их осуществляются естественным путем. Не мудрено радушие, понятна восторженность, с которыми они были встречены; они были страдальцами за то самое, чем сейчас горели все. Прогрессивное движение в представителях власти с одной стороны и утишение бури и натиска в них самих с другой, сблизили два когда-то враждебных полюса, заставили их сойтись на середине. Но в этой середине со стороны декабристов, — по совести можно сказать, — не было отказа. Они остались, чем были.

Здесь является один сомнительный вопрос, как будто способный поколебать уверенность нашего заявления. Вопрос о цареубийстве в революционной программе декабристов. Скажу, основываясь на словах, которые многократно слышал из уст покойного отца моего и подтверждение которым дают „Записки" деда. Цареубийство не было, как бы сказать, членом символа веры декабризма. Оно было включено впоследствии для острастки, ввиде предостережения от отпадений. Вставка эта была вызвана повторявшимися случаями выхода из состава Тайного Общества. Но старшие члены общества всегда знали, что это есть фиктивный пункт. Этим объясняются разногласия в показаниях: одни признавали злой умысел, другие отрицали, — и те и другие были искренни. Естественно, что Верховный Уголовный Суд дал веру тем, которые признавали. Когда этот центральный пункт установлен, то всякое подозрение в отказе от самих себя, в отступлении от своей программы меркнет перед естественностью, с которой общественная эволюция забрала этих революционных передовиков предшествовавшего царствования.

Есть люди, идущие очень далеко в своем стремлении обелить декабристов в смысле противуправительствености. Указывают на то, что Александр I знал о них и закрывал глаза. Правда, он даже однажны сказал моему деду, похвалив его за хорошее состояние вверенной ему военной части.

„Продолжайте, Monsieur Serge, это лучше, нежели заниматься переустройством моей империи“. Да, очевидно, он знал, но важно, что он знал и насколько считал опасным для государства то, что знал. Нельзя допустить, чтобы во времена Аракчеева оставлено было без внимания политическое движение, грозящее переворотом. Естественнее предположить, что сколько бы ни знал Александр I, то, что он знал, было настолько незначительно, что он смотрел на это, как на мальчишество. Но утверждать, что Александр был в курсе программы деятельности декабристов, что они были не революционерами, а выразителями государевой воли, что, не будь перемены царствования, все прошло бы гладко, без заговора и без восстания, это значит задним числом освещать события светом черносотенства. Кто знает, к какому концу, мрачному, тяжелому пришло „дней Александровых прекрасное начало“, тот знает, что в нем декабристам не было бы места. Оно были бы извергнуты, — так всякий организм извергает из себя то, что ему не сродни. И по той же причине были они восприняты прекрасным началом других александровых дней; и по этой же причине были встречены радушно и восторженно. Больше всего оказался им сродни, как это ни странно может показаться на первый взгляд, — кружок славянофилов. В домах Самариных, Хомяковых и Аксаковых, вот где Сергей Григорьевич чувствовал себя духовно дома. Для этого сближения, кроме тех причин, которые ясны из предшествующего, т. е. причин политически-исторического характера, были и причины психологического свойства, роднившие декабристов с славянофилами. Прежде всего те и другие горели любовью к родине, любовью, равной которой в наши дни уже не найти, — любовью такой сильной, что в ней перегорали различия убеждений. Декабристы и по воспитанию, и по стремлениям, и по вкусам своим были, конечно, западники, и если они сошлись с людьми, пустившими в оборот выражение „гнилой запад“, то потому, что встретились с ними в любви к родине, в ней слились.

Встречались они и в другом. Славянофильские теории о взаимоотношениях России и Запада, о преимуществах даров природы перед завоеваниями культуры, о преимущественных

достоинствах того, что называлось простым народом, перед тем, что называлось высшим классом, не могли не найти отклика в сердцах людей, положивших все силы свои на раскрепощение крестьянина. Не будем касаться того, насколько соответствует действительности славянофильская характеристика русского народа, не будем их делать ответственными и за те уродливые формы, к которым эта теория привела впоследствии, за то слащавое умильничание, с которым семидесятые годы воспевали „мужичка", а восьмидесятые прославляли „народ-богоносец". Все это из славянофильства, но не от него. Но во всяком случае учение о „малых сих" было ими пущено в оборот и, опять повторяю, оно не могло не быть любо декабристам; оно давало некую философскую обоснованность, известную мистичность политическому движению, некогда поднявшему их. Наконец, сближала декабристов с славянофилами общая их глубокая религиозность и сочетание религиознаго принципа с национальным. Опять не говорим о преувеличениях и уродствах, к которым пришли восьмидесятые годы, когда считали, что только православный может быть истинно русским и только русский—истинно православным; но слияние принципов жило и в тех и других и давало им нравственную усладу успокоения, как дает ее всегда чувство достигнутой правды.

Было и еще одно общее между ними, одна черта характера, это скромность. Вот как Иван Аксаков в некрологе Сергея Григорьевича Волконского отзывается о нем и о его товарищах по ссылке: „Как в Волконском, так и в тех немногих товарищах, которым удалось воспользоваться милостью ныне царствующего государя, мы были поражены отсутствием всякого раздражения, всякого желания порисоваться и покрасоваться своим прошлым". Он восхищается „высокой внутренней простотой" Волконского. Интересно сопоставить с этой характеристикой отзывы тюремных надзирателей. Заимствую из примечаний моего отца к „Запискам" Марии Николаевны: „Вели себя добропорядочно, при производстве работ были прилежны и ничего противного не говорили, к поставленным над ними смотрителям были послушны, характер показывали скромный". О братьях Борисовых:

„Всегда печальны, тихи, молчаливы и с большим терпением переносят свое состояние“. Часто встречается заметка: „Занимаются более чтением священных книг“. Эти отзывы из глубины острогов рисуют людей. Они рисуют то самое, чем восхищается перо Аксакова, то самое, что славянофильское учение положило в основу русского характера. Правда, что теорию свою они настолько перегрузили, что почти разрушили; пустив в ход погудку о „русском смирении“, они так много на этой струне играли, что в конце концов превратили ее в гимн; они пришли к прославлению смирения, к возвеличению скромности; они как будто говорят: „мы велики,— потому что мы смиренны“. Свой грех самомнения они тут же смывают раскаянием, и в самом ярком своем выражении, у Константина Аксакова, славянофильство представляет лавирование между христианским смирением и национальным самомнением, без какой-либо надежды на примирительный исход. Но, как бы то ни было, в декабристах славянофилы нашли живое воплощение того, что они признавали самой ценной чертой русской народности.

Такова была среда, которая пришлась по душе нашим изгнанникам, и так приняла она их по возвращении на родину. Скажем теперь об отношении декабристов к тому поколению революционеров, которое они застали, когда вернулись, об их отношении к тем путям, которыми пошло, и тем формам, в которые вылилось тогдашнее русское революционное движение.

XVI.

Революционеры последующих поколений любят ставить себя в генеалогическую связь с декабристами; они выводят себя от них. Революционные издания отводят им почетное место, печатают их портреты. Декабристы ставятся во главу угла всего последующего движения и, как стрелочник ответствен за направление поезда, так они становятся, если не ответственны, то старшими сообщниками общего дела. В последнее время декабристы всплывают на экранах; в халтурных спектаклях ставятся эпизоды из „Русских женщин“ —

встреча княгини Волконской с мужем, разговор княгини Трубецкой с губернатором. В самом начале революции основалось „Общество памяти декабристов"; в марте шумно состоялось первое заседание — в Академии Художеств (все, что делалось в марте, делалось с шумом). Потом слухи об Обществе смолкли, но заговорили о „Музее революции". Ко мне обращались с запросом, где мне приятнее, чтобы были мои вещи: в Музее Революции или в Румянцовском? Я ответил, что своих вещей у меня нет, а располагать чужими не в моих привычках...

Если смотреть на этот интерес к декабристам со стороны чисто исторической, он вполне понятен. Но если в этом интересе проявляются стремления утвердить известную преемственность, то мы стоим, мне кажется, перед недоразумением. Из всего, что сказано в предыдущей главе, да и в других, достаточно ясно, думается мне, вырисовывается духовный облик декабриста... Можно без колебания сказать, что он не соответствует ни одному из видов позднейшего русского революционера. Впрочем, нас сейчас интересует не отношение позднейших революционеров к декабристам, а отношение декабристов к тому новому поколению передовиков, которое они застали по отбытии своего наказания.

В то время было два поколения революционеров. Старшие, жившие заграницей эмигранты, Герцен, Огарев, Бакунин и др., и младшее, многочисленное русское студенчество; собственно, революционные „отцы и дети". Сопоставлять эти два поколения, конечно, можно, но сочетать их в нечто единое никак нельзя. Старшие были люди настоящей европейской культуры, каждый в своем роде редко одаренные; сведущие в науках, знатоки и ценители искусства, они уважали авторитет знания и таланта и сами пользовались авторитетом; с ними можно было говорить; можно было с ними не соглашаться, но с ними можно было спорить. Молодые, это были бурливые умы, буйные, беспорядочные, мало думавшие, много нахватавшие; люди выкрика и насмешки, галдежа и хуления; люди, опрокидывавшие авторитеты и потому сами себя авторитета лишавшие. Декабристы в России встречались только с младшими; встречаться со стар-

шими мало кто из них имел возможность. Но здесь могу заявить, что те немногие, которые имели бы случай повстречаться с нашими знаменитыми эмигрантами, не искали его, даже избегали. Для моего деда эмигрантство было чем-то недопустимым. Он считал, во-первых, что человек должен иметь мужество своих убеждений в своей стране, не выезжать заграницу. Он, конечно, имел право так говорить; всякому из нас можно на такое заявление ответить: „Нутка, попробуй“, но он, заплативший за свои убеждения тридцатью годами ссылки, он имел право так говорить. Во-вторых, он находил, что сидеть в Лондоне и на глазах Европы выносить сор из избы, как делал Герцен в своем „Колоколе“, не достойно человека, который любит родину. Так думал мой дед, и так же думали все декабристы.

К этому надо прибавить и другое еще: мы видели, что декабристы были глубоко религиозны. Припоминаю такой случай; рассказывала мне его старушка Ларисса Андреевна Поджио, жена Александра. Живя в Женеве (а, может быть, в Лондоне, не помню), они часто видались с семьей Огаревых. Отношения понемногу шли на убыль; слишком часто наши декабристы испытывали болезненное прикосновение того, с чем не могли соглашаться. Жившая с Огаревыми племянница была беременна, Ларисса Андреевна в виду таких обстоятельств проходила мимо разногласий в убеждениях и участливо делила все заботы и волнения. Но однажды она приходит в дом, ей говорят Огаревы: „А у нас все кончилось; только ребенок не выжил, через два часа умер“. Ларисса Андреевна справилась о здоровье роженицы. „Ничего, благополучно... А ребенка мы закопали в саду“... „Ну, уж после этого, прибавила рассказывавшая мне старушка, я с ними раззнакомилась“.

Если такая пропасть лежала между декабристами и ближайшим к ним поколением, то что же сказать об отношениях их к направлению, по которому шла тогдашняя бунтующая молодежь, те, кого тот же Герцен называл Марксятами? То было время... Я даже не решаюсь сказать слово, так это было, хоть и недавно, но давно, что может быть, и слово уже новому уху непонятно. Итак, то было время „ни-

гилизма". Он только зарождался; он расцвел в шестидесятых годах. Я хочу дать здесь характеристику этой молодежи, но не политический ее облик, а скорее облик общекультурный, ее отношение к искусству, к науке, к формам общественной жизни. Для определения отношений, в которые декабристы стали к окружавшей их среде, это важнее еще нежели политические убеждения. Мы увидим, что даже при одинаковости последних они все же не могли бы признать своего единства с революционной молодежью. Итак, пойдем путем литературы или, еще точнее, путем литературной критики.

Критика наша от Белинского до конца шестидесятых годов интересна и по тому влиянию, какое она имела на развитие молодого поколения, и по той эволюции, которую сама представляет. Требование Белинского, чтобы искусство объясняло действительную жизнь, послужило исходной точкой для последующих критиков. Целая школа писателей, забыв, что их предшественник объявил равноправность искусства с наукой и даже признавал за искусством некоторое первенство ввиду общедоступности его средств, мало по малу отвела искусству второстепенную, вспомогательную роль, которая, наконец, низвела его на ступень простого распространителя полезных сведений. В трудах ее главных представителей Чернышевского, Добролюбова и Писарева, русская критика того времени представляет постепенное понижение эстетического критерия и замену его критерием практической пользы. Произведение искусства ценилось лишь постольку, поскольку оно являлось иллюстрацией действительной жизни; внутренних художественных достоинств не требовалось, их даже не искали; вместо того, чтобы разбирать художественное произведение, критика стала заниматься разбором научных и общественных теорий, в данном произведении изложенных. Литература была объявлена чуть не постыдным делом, если не ставила себе целью непосредственную пользу. Писарев прямо радуется, что со времени Гоголя прозаики берут перевес над поэтами и видит в этом „счастливое" предзнаменование того, что придет пора, когда они в свою очередь уступят место более полезному роду литературной деятельности, чем писание повестей.

Подобное направлеиие не могло не привести в конце концов к полному отрицанию всякого искусства: ясно, что не только многие литературные формы не находили пощады перед подобными требованиями, но целые области человеческого творчества должны были быть изгнаны из числа искусств, как музыка, архитектура, т. е. красота звуков и красота линий, которые не удовлетворяли требованиям непосредственной пользы. Молодое поколение набросилось на это учение с жадностью; оно было легко, удобно, оно избавляло от унизительного преклонения перед авторитетами, от почитания того, чем восхищались другие. Вместо того, чтобы проходить через трудный процесс воспитания, который поднимает нас до степени сознательного восприятия великого художественного произведения, было проще объявить, что слава великих художников есть создание людских предрассудков, что нет великих художников и что прежде всего искусство само по себе не стоит, чтобы о нем говорили: действительность предъявляла слишком сложные задачи, чтобы можно было позволять себе тратить время на пустяки; практические требования жизни важнее всякого искусства и, собственно, как гласит одно из тогдашних изречений, „сапоги выше Шекспира". До таких преувеличений юные пылкие умы привели теории своих учителей. Возникшее на почве чисто литературной влияние этих теорий мало по малу распространилось шире и, наконец, смело всякое признание какого бы то ни было авторитета. (Эта характеристика заимствована мной из моей же книги „Очерки русской истории и русской литературы". Лекции, читанные в Америке. С. П. Б. 1897).

В более или менее преувеличенной форме, с большей или меньшей примесью политического протеста и религиозного скептицизма эти теории исповедывались большинством молодого поколения. Кто хотел бы сейчас познакомиться с описываемым типом, может перечитать „Отцы и дети" Тургенева, где Базаров является его первым литературным воплощением. Впрочем, он не так уж чужд современному наблюдателю жизни: только формы протестов меняются и если теперь не говорят, что „сапоги выше Шекспира" и

„яичница нужнее Пушкина“, то читаем же мы и во всех красноармейских студиях декламируем:

Сожжем Рафаеля,
Разрушим музеи,
Растопчем искусства цветы.

Не будем вдаваться в оценку таких принципов, ни в оценку форм, в которые они выливаются, ни в оценку их воспитательного значения, но подчеркнем лишь, что это в корне противно мировоззрению декабристов.

Здесь подхожу ко времени, о котором могу говорить уже не по наслышке и не по чужим письмам, а по собственным, хотя и давним впечатлениям и воспоминаниям. Все мое детство прошло в близком соприкосновении с людьми этого направления. Я упоминал об Иване Михайловиче Мальневе, сыне Марии Матвеевны, воспитывавшемся в доме Волконских. По возвращении в Россию он поступил в известный в то время Горыгорецкий земледельческий институт и по окончании курса управлял имением моего отца, той самой Павловкой, о которой не раз упоминал. Он был типический представитель того умственного склада, который обрисован на предшествующих страницах; хорошо помню товарищей по институту, приезжавших к нему; помню споры родителей с этой нечесаной молодежью. Говорю — нечесаной — в двух смыслах, и умственно, и физически: тогда были в моде длинные волосы, косоворотка; девушки стригли волосы, носили синие очки, как будто нарочно уничтожая все признаки женственности. Грустное впечатление производила эта молодежь во цвете лет и без всякого душевного расцвета. И помню передаваемые слова деда, что он не мог понять, как из под его крова, из под крыла Марии Николаевны мог вылететь такой птенец, как Ваня Мальнев.

Таких птенцов были стаи...

Что меня еще поражало в них, это их безразличие к природе. Нас было много братьев; на лето к нам всегда приезжали репетиторы, как тогда выражались, на кондиции. Для них природа была нема. Они гуляли по лесу, по степи, по саду, по парку, смотря себе в ноги, как будто обронили

что и искали. Незнание природы меня изумляло; они не могли отличить овса от пшеницы. И это не потому, что они были городские жители. Нет, я знал учительниц сельских, фельдшериц, всю жизнь проведших в деревне, которые не отличали тополя от ольхи. Лучшие виды природы, как и произведения искусства, проходили мимо них или, вернее,— они проходили мимо, и дивные закаты солнца горели и сгорали без них, не для них. Впрочем, Тютчев сказал лучше меня:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнца, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
Про них леса не говорили,
И ночь в звездах темна была.
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза.

Из них вышло поколение, к жизни мало пригодное. В науке они не оставили следа, в искусстве они были еретиками, в живописи они дали передвижничество, в литературе гражданскую скорбь. Они пробудили народ, но дальнейший ход событий показал, что народ не за ними пошел. Они остаются за флагом, не в цель попавшие, проморгавшие, ото всех отставшие, ни к кому, кроме самих себя, не приставшие. Сильные из них кончили жизнь в изгнании, смирившиеся пошли в учителя и осуществили совершенный тип официальной благонадежности. Чиновник или каторжник; увы, русская жизнь не давала много простору в пределах этих двух крайностей. Серединное положение находили только люди с богатым внутренним содержанием или совершенно безразличные. Многие метались в нестерпимой двойственности. Ваня Мальнев кончил размягчением мозга...

Есть и внутренняя причина, почему это поколение было лишено творческой силы. В них было слишком много желчи, слишком много злобы, слишком мало, а то, пожалуй, и

вовсе не было любви. Только любовь дает творческую силу, ненависть способна лишь разрушать. В самом их народничестве было меньше любви к народу, нежели ненависти к тем классам, которые были не народ. Классовая рознь, кипевшая в них, отравляла искренность чувств, помрачала ясность суждений, обрекала их на постоянное пристрастие. Отвлекая их внимание в сторону человеческих резкостей, классовая закоренелость скрывала от их взора то, что есть в человеческой природе общего, единого, т. е. именно то, что для человеческого строительства творчески наиболее ценно: слиянность человечества, а не расчленение его, сглаживание разграничений, а не новое их подчеркивание путем насильственного уничтожения.

И вот, окидывая взглядом это поколение людей, видим среди него образ декабристов, встающий совершенно отдельно, ни с чем не сливающийся. Как дубы, на вырубленной лесной делянке оставленные для обсеменения, так высятся они среди отпрысков молодой поросли. Но не от них та поросль, не дубняк: пошел осинник вокруг пеньков, и не нужна была ему даже тень от тех нескольких старцев-дубов. Старцы остались и останутся одиноки; семя их не нашло почвы, и других таких уже не будет. Это были люди, в которых не было ни капли ненависти, — одна любовь. Это были люди, которые ничего не хотели для себя, — все для других. Это были люди, в которых не было ни малейшей корысти, — одна только жертва. Вот почему вспоминать о декабристах б л а г о т в о р н о.

XVII.

Жизнь наших изгнанников, после возвращения, уже лишена не только драматизма, которым проникнут первый период ссылки, но и той исключительности, которою окрашено иркутское житье. Боюсь, что и рассказ наш представит некоторое ослабление напряженности, а потому вызовет и понижение интереса. Тем не менее доведу повесть до конца.

Сергей Григорьевич высочайшим повелением, как и прочие в его положении декабристы, был лишен титула. Манифестом титул возвращался сыновьям отцов, принадлежавших ко второму разряду. Тут вышла неясность в понимании точного смысла манифеста. По суду Волконский был первой категории, но по Высочайшей резолюции, в видах смягчения наказания переводившей всех виновных на одну категорию ниже, он был второй. Имел ли сын его, Михаил Сергеевич право на возвращение титула? В таком же положении был сын Трубецкого. Вопрос повис в воздухе. Княгиня Мария Николаевна обратилась с прошением на имя молодой императрицы Марии Александровны. Последовал дополнительный манифест о возвращении княжеского титула Михаилу Сергеевичу Волконскому и Ивану Сергеевичу Трубецкому. Восстановление детей в утраченных им правах было неотступной мечтой Сергея Григорьевича.

Сергея Григорьевича самого все называли князем. Не мудрено, когда и каторжане сибирские называли декабристов князьями. Только для человека с сильно развитой классовой обособленностью или с сильно развитой классовой завистью титул представляется чем-то таким, что отличает человека от человека; а для нормально мыслящего титул есть лишь известная прибавка к имени, и до такой степени с именем сросшаяся, что представляется неотделимой от лица, как и само имя. Но видеть в титуле повод к ненависти так же безрассудно, как видеть в нем причину для обожания. И если всегда были противны люди, с сгорбленной спиной подобострастно говорившие „Ваше Сиятельство", то это не значит, что заслуживают уважения те, кто лезет на человека с кулаками за то, что он князь. Сергея Григорьевича в общежитии все называли князем. Даже наш посол в Париже, граф Киселев, когда-то сослуживец Сергея Григорьевича, в официальном письме в Петербург, поддерживающем его просьбу о продлении срока заграничного пребывания, называет его полным именем. Нам попался даже официальный документ, выданный секретарем русской миссии при папском престоле, графом Толстым, во время пребывания Марии Николаевны в Риме в 1859 году,

в котором она именуется женою князя Сергея Григорьевича Волконского.

Сама Мария Николаевна, конечно, никогда не утрачивала титула, но довольно любопытно, что в официальных случаях, когда требовалось полное имя, она писала еще „генерал-майорша“, т. е. подписывалась женским родом того чина, которого муж уже не имел.

„Полицейский надзор“ не был особенно стеснителен в материальном смысле, но нравственно он тяготил Сергея Григорьевича каждый раз, как ему приходилось испрашивать особого разрешения на выезд, на переезд. Одно из самых элементарных условий культурной жизни — возможность и свобода передвижения; ограничение этого условия возвращает нас к докультурным временам и тяжело ложится на сознание нашего личного достоинства. Сергей Григорьевич ходатайствовал о снятии с него надзора. Просьба была уважена. На этом прекращаются официальные данные о декабристе Волконском; со снятием полицейского надзора имя его исчезает со страниц жандармских летописей. Но еще раз он напомнил о себе Александру II.

Сергей Григорьевич никогда не был тщеславен; на зените своей головокружительной карьеры он ею не кичился. Но одно его глубоко огорчало, — быть лишенным военных знаков отличия, свидетелей доблести его и преданности отечеству; в особенности два знака были ему дороги: георгиевский крест, полученный за сражение при Прейсиш-Эйлау, и медаль 12-го года.

Он написал прошение министру внутренних дел, прося его „повергнуть к подножию престола“ его всеподданнейшую просьбу о возвращении ему упомянутых знаков. „Они мне дороги, добавлял он, как доказательство того, что и я когда-то имел счастье проливать кровь свою за Россию“. Александр II удовлетворил это последнее желание декабриста Волконского. За два с половиной года до смерти получил он эти знаки и уже не расставался с ними. Маленький георгиевский крест и крохотная медаль перевязаны георгиевской ленточкой и пристроены, чтобы носить их в петлице. „Так я их получил, так они у меня хранились в кожаном

футлярчике. Из всего, что у меня отнято, это, может быть, самое дорогое. Где теперь этот крест и эта медаль? Чья-нибудь рука закинула их, чья-нибудь пята затоптала их в грязь... Но на этих страницах,—не знаю, удалось ли мне,—стремлюсь спасти от забвения то, что закинуть нельзя, чего нельзя затоптать.

Кроме Москвы, жизнь Сергея Григорьевича и Марии Николаевны протекала в имении Вороньки Черниговской губернии, Козелецкого уезда, у дочери. Елена Сергеевна, овдовев после смерти Молчанова, вышла вторым браком за Николая Аркадьевича Кочубея. К ним ездили наши декабристы проводить лето.

Второй брак Елены Сергеевны был временем безоблачного счастья и для нее и для ее родителей. Вообще можно сказать, если родители сделали все, чтобы дать своим детям „молодость светлую“, дети дали им „старость покойную“. Трудно себе представить что-нибудь более ровное, тихое, чем письма того времени. Конечно, почерк Марии Николаевны уже не тот: из тонкого, нарядного, в струнку, он превратился в крупный, рваный, беспорядочный. Но и сама она уж не та чернокудрая красавица, „дочь Ганна“, которую перед отъездом в Сибирь рисовал с ребенком на руках Соколов. Теперь она была старушка, с гладко причесанными волосами, только на ушах закрученными в два локона. Седины не было; белый кисейный чепец обрамлял серьезное лицо и ложился концами на бархатную кацавейку. Остался прежний рост, остались удивительные глаза. В них осталась прежняя грусть и было много нового страданья и много новой мысли. „Говорящие глаза“, сказал в своих „Записках“ барон Розен; что-то дальнее и глубинное „говорит“ в последних ее портретах. Это прекрасное передал известный итальянский портретист Гордиджиани в своем посмертном портрете, воспроизведенном при „Записках“ княгини Марии Николаевны. Портрет этот писался во Флоренции в 1873 году по фотографиям, и, можно сказать, под диктовку моего отца, который сидел за спиной художника. Помню, как писались эти портреты деда и бабушки; меня, мальчика, отец водил в мастерскую. Гордиджиани был сыном известного композитора популярнейших

в свое время романсов. Мой отец, обладавший прекрасным голосом и отлично певший, гуляя по мастерской, услаждал слух художника песнями его отца, в то время как тот рисовал его родителей. В особенности одну песенку любил я: „Ah, tempi passati non tornano piu"... (Ах, прошлое время назад не вернешь)... Через много, много лет я снова услышал эту песню в устах дочери живописца, известной певицы Джульетты Гордиджиани... Портреты были в нашем доме на Сергиевской в Петербурге: где сейчас, не знаю... Вернемся к нашему рассказу.

В то время, о котором говорим, от княгини Марии Николаевны веяло некоторою строгостью; но это было ее настроение, это не было ее отношение к людям. Она смотрела на чужую жизнь из глубины своего прошлого, на чужую радость — из глубины своих страданий. Это не она смотрела строго, а ее страдания смотрели из нее: можно все забыть, но следов уничтожить нельзя. И я думаю, что это причина, по которой домочадцы, служащие, гувернантки боялись ее. Говорю, что слышал, — сам ее помнить не могу, мне было три года, когда она умерла в 1863 г. Знаю только, что летом 1862 года родители мои приезжали навестить Марию Николаевну, привезли и меня двухлетнего; и когда они уехали и меня увезли, садовнику было приказано не мести дорожек в саду, чтобы не стирались на песке следы от детских ног моих...

Расстроенное здоровье наших стариков заставило Сергея Григорьевича просить разрешения на поездку заграницу. Зимы 1859 и 1860 г.г. они провели частью в Риме, частью в Париже. В Риме, на кладбище Тэстачо, княгиня Мария Николаевна нашла могилу своей матери, под Римом в Фраскати, — могилу своей сестры Елены. В Риме же состоялась помолвка ее сына, моего отца. Князь Михаил Сергеевич женился на внучке своей тетки Софьи Григорьевны, княжне Елизавете Григорьевне Волконской. Свадьба состоялась в Женеве 24 мая 1859 года, — там жила Софья Григорьевна; к ней поехали. Тут виделся Сергей Григорьевич в последний раз со своей сестрой, Мария Николаевна со своей золовкой.

Сколько прошлого, и какого разнообразного, лежало в
этих трех; от Венского Конгресса до Иркутска...

После свадьбы сына Сергей Григорьевич поехал на
в Виши, а осенью все съехались в Париже, где Сергей
горьевич не был с тех пор, как в 1815 году видел в
щение Наполеона с острова Эльбы. Из Парижского п
вания помню случай, о котором часто мне рассказ
Однажды дед мой, страдавший подагрой и часто об
вавший ноги платком, заметил, что одна нога у него
нела. Послали за доктором. Как раз случился в П
знаменитый, приехавший из Дрездена профессор Ва
Он осмотрел, нашел гангрену и потребовал ампутац
это время пришел давнишний друг Сергея Григорь
доктор Louis, с которым он был знаком в 1815 году.
цуз не согласился с немцем и объявил, что гангрен
жару не может быть. Пока знаменитости пререкались
ная старушка Мария Матвеевна, которую возили с
заграницу, подошла к Сергею Григорьевичу, наму
палец и мокрым пальцем потерла страшный синяк. Ока
след полинялого платка...

В Париже застал Сергея Григорьевича день 19-го фе
Это, можно сказать, был завершающий день его жизн
был в русской церкви на молебне, когда читался ма
об освобождении крестьян. Можно ли описывать, мож
представить себе, что он чувствовал, когда с высоты а
читались царские слова, возвещавшие то самое, ради
он выстрадал каторгу и изгнание! Да, он мог сказать:
отпущаеши раба твоего с миром".

Тут случился эпизод, болезненно полоснувший его по душ
Когда, весь в слезах, с трясущимися ногами он подходил
кресту, он столкнулся с Николаем Тургеневым, которого
декабристы, как эмигранта и человека, когда-то к ним близко
стоявшего, а потом от них отдалившегося, — не любили.
Столкнувшись с ним здесь, перед крестом, в такой день,
такую минуту, Сергей Григорьевич, забыв все прошлое
уступая ему дорогу, обратился к нему со словами: „
Николай, тебе первому подходить". Этим он хотел выра
что старое забыто, а кроме того, и то, что, как писа

он все же сослужил службу делу освобождения. Но Тургенев отступил на шаг, окинул его взором и сказал: „Кто вы такой?“

Княгиня Мария Николаевна, уезжая из России, взяла с собой мешечек русской земли с тем, чтобы в случае, если она умрет заграницей, ей положили его в гроб. Но она привезла его обратно. Она прожила еще два с половиною года, окруженная вниманием и заботами.

Летом 1863 года Сергей Григорьевич, как я уже упоминал, ездил с моим отцом в Тамбовскую губернию осматривать имение Павловку. Хозяйство и землю он всегда любил, а из Сибири привез особенную привязанность к огородничеству. В Вороньках, у Елены Сергеевны, он имел свой собственный огород, в котором работал. Тут, в одной подробности между прочим, сказалась одна черта его характера, которая часто забавляла окружающих неожиданными своими проявлениями: это щепетильная аккуратность, с какою он выполнял то, что считал согласным с его понятиями о порядке. Огород его был разбит на открытом месте, ничем не обнесен, но была поставлена калитка, и он никогда иначе не входил, как через калитку, и ключ от калитки носил при себе. Но в этой же маленькой подробности сказалось и другое; в мелочах часто сказывается важное, и в этой мелочи ясно чувствуется взгляд Сергея Григорьевича на собственность. Плодородие земли, процветание хозяйства, улучшение быта были для него нераздельно с принципом собственности. Я не слышал его речей, знаю их по рассказам, но никогда смысл их не вставал так ярко передо мной, как когда я прочитал однажды изречение великого английского мыслителя: „Дайте человеку кусок пустыни в собственность, он через десять лет превратит его в цветущий сад. Дайте ему цветущий сад в десятилетнее пользование, он превратит его в пустыню“. Парники Читинского острога, урикские овощи и цветы, вороньковский огород, вплоть до Павловки, на покупку которой он благословил своего сына, — все это встало в моей памяти и выдвинуло образ моего деда, когда я прочитал это великолепное изречение Джона Стюарта Милля.

Осмотрев и одобрив приобретенное сыном имение, выполнив необходимые формальности в уездном городе Бори-

соглебске, где, помните, мы видели его сидящим на лавке в крылатке и широкополой шляпе, — Сергей Григорьевич с моим отцом поехали в Эстляндию, в имение Фалль под Ревелем, принадлежавшее моей бабушке с материнской стороны, княгине Марии Александровне Волконской, которая по мужу приходилась ему племянницей.

Фалль, конечно, одно из самых удивительных мест, какие мне пришлось видеть. На берегу моря, в холмистой местности, окутанный лесами, над крутым скалистым берегом реки, против шумящего пенистого водопада, стоит дом с высокой башней, с террасами, балконами, в том затейливом, несуровом готическом стиле, который при Николае I был пущен в ход архитектором Штакеншнейдером. Ничего более романтического нельзя себе представить. Фалль был приобретен и устроен отцом моей бабушки, графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Им построен дом, им разбит этот удивительный парк, в котором 54 версты дорожек. Дом внутри — одна из простейших и по цельности своей драгоценнейших картин первой половины прошлого века. Интереснейшие портреты, между прочим восхитительный портрет пастелью императрицы Марии Федоровны, писанный в Версале, когда она с Павлом была в гостях у Людовика XVI. Из этого же времени хранилась там чашка Марии Антуанетты, которую королева подарила матери графа Бенкендорфа, сопровождавшей великую княгиню. Прелестная библиотека, с конца восемнадцатого столетия, всегда пополнявшаяся. Я видел много прекрасного, изъездил Европу, совершил путешествие вокруг света, — могу засвидетельствовать, что такого слияния красоты и исторической цельности мне не давало ни одно другое место. Теперь в Фалле остались одни голые стены, в 1919 году там стояли наши красные войска, — остались одни стены...

На высокой горе, в лесу, маленькое кладбище. Там похоронены Бенкендорфы, моя бабушка, Мария Александровна, и мои родители. Могилы расположены на уступе полугоры; вниз спускается зеленый, с двух сторон обрамленный луг, за лугом внизу далеко впереди опять лес, за лесом море; сзади, на горе, наверху огромный деревянный крест, который виден

с моря. Крест этот всегда там стоял, издавна. Однажды бабушка, гуляя с отцом своим, сказала: „Я бы хотела быть похоронена там под крестом“. „Да, правда хорошая мысль“. Когда граф Бенкендорф умирал, на корабле по пути из Амстердама в Ревель, его последние слова были: „Там, наверху, на горе“. Присутствовавшие не поняли; уже, когда привезли тело в Фалль, моя бабушка объяснила. Еще подробность, которую кто-то мне рассказывал. Корабль, держа путь на Ревель, проходил мимо Фалля. Прабабка моя, графиня Бенкендорф, с подзорной трубой поднималась на башню смотреть прохождение корабля; она видела корабль, но он нес уже покойника... У меня был целый альбом фалльских видов, карандашных и акварельных, работы моей матери; некоторые из них были сфотографированы для предполагавшегося издания. Все это, и фотографии и рисунки моей матери, — народная собственность в уездном городе Борисоглебске...

В этом дивном Фалле, в этом чудном имении Бенкендорфа, проводил лето 1863 года декабрист Волконский: так пожелала судьба, капризная судьба. В 1826 году, когда Сергей Григорьевич сидел в Петропавловской крепости, его посетила любимая племянница его, дочь Софьи Григорьевны, Алина. Она писала бабушке, старухе Александре Николаевне в Москву: „На нашем свидании присутствовал генерал Бенкендорф“. Кто бы мог подумать тогда, что через 33 года, в Женеве, сын этого каторжника женится на внучке этого генерала?...

Здесь же, в Фалле, помню и я его, как это ни странно, — мне было три года. Но отчетливо помню во флигеле, который мы впоследствии звали по имени управляющего „дом Лилиенкампфа“. Помню в кресле сидящего, с большой белой бородой и длинную трубку курящего дедушку. Помню его и другой раз; последующей зимой в Петербурге, в том доме, где мы жили, — на углу Малой Морской и Гороховой, дом Татищева, — он жил в квартире над нами. Нас с братом повели к дедушке, но мы так расшалились, что нас забрал старый его камердинер Степан и снес обратно вниз. Этот Степан прожил долго; на улицах Петербурга он нам попа-

дался, когда нас водили гулять: всегда пьяный, с красным носом, он при встрече нам целовал руку, что нас приводило в последнюю степень смущения, и говорил по-французски, что мы в то время мало еще понимали. Мы, дети, боялись его...

Здесь, в Фалле, за чаем проходили бесконечные рассказы Сергея Григорьевича — от года первого до пятьдесят шестого... Спокойное настроение было нарушено тревожными известиями из Черниговской губернии: княгиня Мария Николаевна была сильно больна. Отец мой выехал в Вороньки. Сергей Григорьевич ехать не мог, он сам заболел.

Михаил Сергеевич застал свою мать в сильном приступе болезни печени при непрекращающейся лихорадке. Силы ее были слишком подточены всем, что она перенесла; через шесть недель она скончалась — 10 августа 1863 года на 58 году от рождения. В архиве нашем сохранился протокол о вскрытии тела и акт о предании тела земле.

После смерти Марии Николаевны жизнь Сергея Григорьевича была постепенным физическим угасанием. Поездка заграницу уже не помогала; он вернулся в Вороньки, чтобы, как он выражался, „сложить жизнь рядом с той, которая ему ее сохранила“. Ум его не угасал; еще за день до смерти он писал письма, давал распоряжения о выписке журналов на следующий год. Конец его был тих. Смерть подошла к нему неслышно, не оспаривала его у жизни, она подождала, чтобы жизнь уступила его. Рано утром исповедался и причастился. Потом стал писать письмо сыну; устал, перешел на кровать и попросил Елену Сергеевну почитать ему. Она читала вслух, когда заметила, что дыхание его стало затруднительно и учащенно. Она заменила книжку „Отечественных записок“ Евангелием и продолжала читать. Он отошел под это чтение. Было утро 28 ноября 1865 года, ему было 77 лет.

Мой отец при смерти своего отца не присутствовал, он был в Петербурге. Мне было пять лет. Это была первая смерть; я не отдавал себе отчета. Помню слезы родителей, помню черное платье матери...

Заботами Елены Сергеевны и Михаила Сергеевича над прахом их родителей воздвигнута церковь по рисункам архи-

тектора А. Ю. Ягна. Я был при закладке и при освящении этой церкви. В иконостасе вставлены иконы, бывшие в Сибири. Под ними на доске текст, который княгиня Мария Николаевна поставила во главу своих „Записок“:

Господь решит окованные...
Господь возводит низверженные...

(Псалмы 145, 144).

Над сводами склепа высечен текст, который отец мой поставил во главу издания „Записок“ своей матери: „Радуйся, неусыпающая попечительнице во узах и темнице седящих“.

Москва.
21-го февраля 1921 года.

